

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ
РОССИЙСКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ»



АЛЕКСЕЙ ЮГОВ

ДУМЫ О РУССКОМ СЛОВЕ

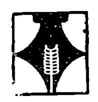






ДУМЫ О РУССКОМ СЛОВЕ

АЛЕКСЕЙ ЮГОВ



АЛЕКСЕЙ ЮГОВ

ДУМЫ О РУССКОМ СЛОВЕ



МОСКВА • 1972

РЕДАКТОР
В. ГОРБАЧЕВ

ХУДОЖНИКИ
Б. МОКИН, Б. ШЛЯПУГИН

ОТ РЕДАКТОРА

Алексей Кузьмич Югов, автор известных романов — «Бессмертие» и «Ратоборцы», историко-революционного романа-эпопеи «Страшный суд», толкователь и переводчик древнего памятника русской литературы — «Слова о полку Игореве», одним из главных дел своей жизни считает борьбу за народность современного литературного языка, за обогащение письменного языка формами устного, против засорения русской речи ненужной иностранщиной.

А. Югов любит повторять старинную пословицу: чужу бороду драть — свою подставлять!.. Далеко не чуждый юмора, писатель как бы раскрывает в этой пословице свой характер, темперамент. Неутомимая энергия, настойчивость и вместе с тем добросердечие и принципиальность отличают А. Югова в жизни и А. Югова — автора статей и книг. «Споры» свои в защиту языка он начинал в годы, когда за «некоторые областные излишества» в словоупотреблении подвергались критике даже выдающиеся произведения современности. Зернышко к зернышку, факт к факту,— так собралась из многочисленных выступлений в периодике книга А. Югова «Судьбы родного слова», выпущенная в 1962 году издательством «Молодая гвардия». За это время автором были написаны новые статьи и проще всего было бы присоединить их к прежнему изданию и выпустить отдельной книгой. Но читатель сегодня, быть может, менее всего заинтересован в переиздании или в академизированном сборнике статей, где немало повторяющихся мест, примеров. Литература — дело движущееся, живое, и то, что было очень злободневно вчера, может оказаться менее значительным сегодня.

Создавая для «Современника» книгу «Думы о русском слове», А. Югов включил в нее все лучшее, что было в «Судьбах...», иные статьи перестроил, а главное — включил сюда новые материалы, и особенно интересны из них те, в которых ведется «разведка словом» событий древней истории и дан анализ современной нашей литературы. Состоит книга из трех разделов. В первом — «Россыпи и самородки русской речи» — разговор идет о словаре народа; во втором — «Русский язык сам собой правит» — собрана полемика автора, показано, какие неограниченные художественные возможности открываются перед писателем,

умеющим черпать из океана народного языка; в третьем разделе — «Слово — разведчик истории» — представлены лингво-исторические изыскания автора.

Советским читателям, современникам А. Югова, очевидно, что почти тридцатилетняя борьба автора «Судеб родного слова» и «Дум о русском слове» за самобытность русского языка стала явлением нашей отечественной культуры. И недаром «ратоборцем» называет А. Югова Сергей Михалков; «одним из... очень немногих писателей, которые знают, любят настоящий русский язык и на нем пишут...» считает А. Югова Н. Кочин; «...добрым писателем и неутомимым радетелем самобытного русского языка» признает А. Югова М. Алексеев; и всегда «с неизменной любовью и признательностью за... неустанную мужественную борьбу с осквернителями русского языка» обращался к А. Югову Е. Пермитин. Знаток старины и современной литературы Евгений Осетров в одной из своих статей писал: «Нельзя не согласиться с Алексеем Юговым... когда он вслед за Далем, Шахматовым, Буслаевым и Чернышевым утверждает, что отвращение от провинциализмов есть старинный риторический предрассудок, особенно неуместный в нашем Отечестве».

Большой писатель, мастер эпического жанра, А. Югов в то же время часто выступает в периодике с рецензиями, статьями, посвященными творчеству товарищей по перу, анализу языка того или другого писателя. Выступлениям А. Югова свойственны страстность и полемичность, автор подчас категоричен в своих выводах и утверждениях, но нельзя не видеть и того, что А. Югов постоянно стремится к предельной убедительности своих доводов.

Несмотря на свои семьдесят лет, А. Югов, как и в молодости, по-прежнему горяч, неутомим, непреклонен. В спорах с теми, кто пытается нормировать литературный язык, выхолостить из него едва ли не сам дух народный, А. Югов не утратил оптимизма и веры в то, что выразительность, красота, самобытность и поэтическая сила русского слова никогда не будут ущемлены; по-новому зазвучат они в талантливых произведениях о наших героических современниках, о людях коммунистического завтра.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРБАЧЕВ

I



О НАРОДНОСТИ ПИСАТЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Широко известны восторженные суждения о русском языке, принадлежащие великим людям нашего Отечества. Но, быть может, не все знают, что суждение классика французской литературы Проспера Мериме о языке русском также было поистине дифирамбическим. «Это прекраснейший из всех европейских языков, не исключая и греческого»,— утверждал великий французский прозаик. При этом Мериме сделал любопытное замечание о чисто художественных свойствах и возможностях русского языка: язык этот, говорит он, «необыкновенно хорошо приспособлен к поэзии». Почему же? А потому, оказывается, что «педанты не успели ввести в него свои правила и свои фантазии».

Проспер Мериме изучал русский язык. Он переводил Гоголя. Последнее же замечание его прямо касается нашего предмета — народности литературного (книжного) языка — и невольно сопоставляется с тем историческим фактом, что в это же самое время великий современник Мериме, основоположник русского литературного языка — наш Пушкин — в неравном бою отбивался от яростных атак лжеграмматистов, врагов живого народного языка, отсекавших его начисто от языка книжного. Пушкин и опровергал раболепных почитателей «тяжелого педанта Готшеда», немецкого филолога XVIII века, и высмеивал их попытки набить колодки готшедовской грамматики на русский язык. «Готшедовцы», галломаны, «бутырские критики» — стан врагов Пушкина (Каченовский, Сенковский, Греч, Булгарин и прочие) — с пеной у рта атаковали язык его произведений, в

особенности его словарь. «Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык!» — возмущались они.— «Житель Бутырской слободы» (некий ученик Каченовского) приходил в неистовство от просторечия «Руслана и Людмилы». «Позвольте спросить,— писал он,— если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородой, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться!»

Вспоминая об этой борьбе Пушкина за воссоединение «просторечия», то есть житейской, бытовой речи русского народа с языком литературным, Белинский писал: «Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, а фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтоб уничтожить эти австралийские табу в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина,— так они мелки и жалки: но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина — исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия...»

Чем же защищался Пушкин? Это очень и очень знаменательно: он защищал свой язык ссылкой на просторечие, на то, что так говорят «простолюдины во многих наших губерниях». «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка»,— заключает Пушкин, защищая слова «хлоп», «молвь» и «топ». «Слова сии коренные русские». И далее: «*хлоп* употребляется в *просторечии* вместо хлопание, как *шип* вместо шипения» (курсив мой.— *А. Ю.*).

В этом же своем ответе на разбор четвертой и пятой глав «Онегина» Пушкин обращается к молодым писателям со следующим призывом: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка». Здесь же провозглашает он свое мудрое положение, которое и по сие время не утратило истинности: «Грамматика наша еще не пояснена».

Отвечая на попреки критиков «Евгения Онегина», что вместо принятого в книжном языке сравнительного «как» стоит у него «что», Пушкин пишет: *«Что звук пустой»* вместо «подобно звуку», «как звук». Частица *что* вместо грубого *как* употребляется в песнях и в простонародном нашем наречии, столь чистом, приятном. Крылов употребляет *«что»*. И опять мы видим помету

NB, и снова — призыв к литературной молодежи: «NB. Кстати о критиках. Вслушивайтесь в простонародные наречия, молодые писатели,— вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах...» Примечательны здесь те эпитеты, которые прилагает Пушкин к «простонародному наречию»: оно у него в высокой степени и *чистое* и *приятное.* Это — вызов. Это — программа! В другом месте он смеется над тем, что литературная братия — Булгарин, Греч, Каченовский — «находят одно выражение *бурлацким,* другое *мужицким»* и «гнушаются просторечием».

Взгляды Пушкина на сложение, на историю образования литературного русского языка намного опередили свой век и вряд ли вызовут возражения у кого-либо из современных представителей языкознания и литературоведения. Так, например, один из основных вопросов для каждого писателя — вопрос о соотношении «просторечия» и книжного языка — представляется Пушкину следующим образом. С возникновением письменности, с появлением древнерусской литературы «простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».*

В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин осуждает в ломоносовской прозе ее «схоластическую величавость, полуславенскую, полулатинскую» и, говоря о заслугах Карамзина в создании современного литературного языка, указывает, что достиг своей цели Карамзин широким вокнижением живого народного языка: «к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова».

Здесь Пушкин несколько «передал» хвалы своему предшественнику: да, Карамзин обращался к источникам живой речи, но в первую очередь — к живой речи великосветского общества; ее, а не язык многомиллионного трудового народа он считал «литературной нормой». Ограничивая себя в лексиконе салонно-жаргонными нормами, Карамзин тем самым подсекал себе крылья и как художник-реалист и как реформатор книжного языка. Хотя, по чудесному выражению Белинского, Карамзин совлек русский язык с ходуль латино-немецких конструкций, то есть усовершенствовал синтаксическую структуру литературной речи, тому же Белинскому принадлежат слова, что Карамзин «*презрел* идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников» (курсив мой.— *А. Ю.*). Впрочем, свое суровое замечание Белин-

ский не распространяет на карамзинскую «Историю». «Но он исправил эту ошибку в своей «Истории»,— заключает критик.

А между тем самоочевидно, что живой-то великорусский язык, которым вся Русь говорила, на котором слагала свои песни, былины, сказания, пословицы, поговорки и загадки,— его-то и нечего было «совлекать» с ходуль латино-немецких конструкций, ибо он на них и не думал никогда становиться! У этого языка издревле была своя грамматика, отличная от готшедовской, свой словарь, свои обороты и... своя поэтика, запечатленная в образцах устной словесности, да и не только в них, а и в целом ряде произведений древнерусской литературы — начиная от «Слова о полку Игореве», кончая протопопом Аввакумом, чьи повествования воспринимались и Тургеневым, и Толстым, и Горьким как могучее, самобытное по языку и чисто народное произведение.

Вот чего не понял Карамзин и вот тó, что глубоко, уже вскоре после своего лицейского, отроческого периода, понял великий Пушкин.

Но и «сам Пушкин не был бы полон без Крылова»,— снова должны мы повторить глубочайшую истину, сказанную Белинским. Крылов — вот уж кто не «презрел идиомами русского языка»!

Живая житейская, бытовая речь русского народа, то есть именно то, что мы и понимаем под термином «просторечие», хлынула, как никогда, через басни Крылова в литературный язык, заставляя, вероятно, корчиться не одного поклонника салонного жаргона.

Басни Крылова у каждого из нас с детства на устах. Подобно бессмертной комедии Грибоедова, они еще при жизни Крылова разошлись в пословицах и поговорках. И нет нужды приводить из них выдержки. Однако придется, хотя и очень сжато, сказать о некоторых чисто внешних признаках народности их языка.

Уточним термин: любое обсуждение какого угодно предмета становится более плодотворным, если договориться о содержании, которое мы вкладываем в термин. Под термином «народность литературного языка» мы будем понимать *степень органического слияния книжного языка с общенародной житейской, разговорно-бытовой речью*, или, иначе говоря, *степень усвоения писательским языком как лексики, так и синтаксических конструкций так называемого просторечия*.

Слово «просторечие» мы берем в пушкинском, самом положительном и обширном смысле. Просторечие есть явление общенародное. И не следует, как это часто случается в литературных спорах, смешивать его с диалектизмами. Они — явление местное, порою окружное только. А о просторечии языковеды наши единодушно и исстари свидетельствуют, что «в нем сохранилось древнейших и существенных свойств русского языка больше, нежели в современной образованной речи» (Буслаев).

Для развития русского литературного (книжного) языка на всех его ступенях взаимодействие его с просторечием, «сначала презренным», обогащение его из океанического «резерва» бытового народного языка и устной словесности было явлением главенствующим, определяющим и в высокой степени плодотворным. И что особенно следует запомнить: основоположник современного русского литературного языка считал таковое сближение признаком словесности *зрелой:* «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».

Тут кстати заметить, что чудесному пушкинскому термину «просторечие» придают, и совершенно неправильно, несколько принижающее порой значение. В работах некоторых лексикографов помета «просторечие» стала произвольно и ненаучно служить для «ошельмования» многих и многих слов русского языка и его оборотов, что приводит к обеднению языка литературного за счет исключения из его состава «диалектизмов», «вульгаризмов», «неологизмов», «просторечия» и других категорий.

Согласимся на мгновение, что составители словарей безошибочно распознали и определили все эти категории русских слов. Однако неужели в языке русском более пятидесяти процентов диалектизмов, вульгаризмов и тому подобных слов?

Полная путаница понятий! Живые люди вообще не разговаривают языком книги, тем более — языком стиха, будь он хоть Пушкина, хоть Маяковского. Но разве неупотребление в быту дает основание вычеркивать из русского языка слова и речения гениальных наших поэтов по той причине, что так, дескать, не разговаривают?!

Мы, писатели и поэты, и все вообще литераторы, конечно, не можем быть против *исторически сложившихся, подлинных,* весьма, впрочем, *подвижных* литературных языковых норм. Но

мы против «заниженных» норм, против вкусовщины и произвола «нормировщиков».

Вполне закономерно, что языковая практика писателей, руководимых не только одним художественным чутьем, но и глубоким знанием еще не вокнижившегося народного языка, может опережать работу установщиков языковых литературных норм и вступать в противоречие с ними. Полезно вспомнить, что еще в XVIII веке, когда просторечными словами считались слова *вполне, дельно, жадный, удача, кружка, тын, рукавица* и т. д., уже была попытка создать нормативный словарь русского литературного языка. Представляю, какая «херасковщина» утвердилась бы в литературе! Уже Ломоносова, опираясь на эти литературные нормы XVIII века, поносили за то, что он якобы натащил в литературный язык «подлых» слов, что он засоряет-де чистоту общерусской речи своими «холмогорскими» словами и речениями; обвиняли его в «привычке худого и простонародного языка».

Следует четко сказать, что Пушкин отнюдь не ставил знака равенства между языком письменности и разговорным: «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать языком разговорным — значит не знать языка...»

В о с с о е д и н е н и е, обогащение письменного языка устными формами; вбирание всех мощностей, потенций языка народного, всего, что дееспособно, в язык литераторов — вот завет Пушкина, да и всех его продолжателей, вплоть до Горького и Маяковского!..

Так неужели же теперь, когда литература стала кровным делом многомиллионного «народа-языкотворца», когда его словотворящая сила успела за пятьдесят с лишним лет со дня Великого Октября обогатить язык огромным количеством новых слов, теперь, наконец, когда писатели — все сплошь из народа,— неужели же теперь не является смешным и вредным анахронизмом постоянное одергивание писателей: «Этого слова не смей применять — оно худое и простонародное; и этого не смей — оно «новомышленное», «неологизм»!»

Вот несколько печальных примеров из такой мнимолитературной практики. От автора требуют сноски к слову... «оладья»!..

— Зачем? — спросил автор.

— «Оладья» — провинциализм, и притом устаревший!..

В другом случае вычеркнули слова «столешница» и «окон-

ница» из тех же соображений. Третий объявил «неграмотностью» слово «одёжа». Но он был озадачен, когда ему привели из «Дуэли» Чехова: «Освободившись от *одёжи,* Надежда Федоровна почувствовала желание лететь».

Тут попутно скажем, что устное употребление слова «одёжа» в народе относится обычно к верхнему платью. И отчего бы не сохранить нам в литературном языке обе формы — и «одёжа», и «одежда», следуя такому же разграничению?

Вычеркиваются редакторами речения *«ан нет», «аж»* (усилительная частица: «аж мороз по коже» и т. п.). Общее говоря, у нас в литературном языке нередко подвергаются произвольному, и по существу невежественному, гонению многие наречия, многие частицы и так называемые модальные слова. Эти последние означают отношение всего высказывания или предложения к реальности; они означают: вероятность, возможность, желаемость или нежелаемость, опасение и тому подобные отношения говорящего к предмету речи. Именно частицам, наречиям, «модальным словам», да еще особенностям русского глагола и обязан в первую очередь язык русского народа тем своеобразием, «обилием идиомов и русизмов», о которых говорил Белинский.

Классики наши не только не гнушались, например, частицами, а, напротив, охотно к ним прибегали, в полном согласии с языком своего народа.

«*Небось,* у тебя... семейка немалая» (Герцен, Былое и думы); «*Знать,* у бойкого народа ты могла только родиться» (Гоголь); «...*авось-либо,* вся его вчерашняя тревога напрасна» (Лесков, Соборяне); «Это *просто* были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун» (Тургенев, Бежин луг); «Это случилось очень просто, *пожалуй,* несколько бесстыдно, *что ли...*» (Горький, Карамора); «*Чай,* заждался? *Небось,* бранил дядю за то, что не едет» (Тургенев, Дворянское гнездо); «Он три дня *точно* прятался и, видимо, избегал встречи» (Достоевский, Идиот); «А *только* воз и ныне там» (Крылов).

Не говоря уже о Крылове, который «весь на этом стоит», буквально неисчерпаемо количество всевозможных «модальных слов», частиц, наречий, идиоматических фразеологических предложений у Лескова и у Л. Н. Толстого (особенно в его произведениях последнего периода).

Коснемся русских наречий. «Но почему именно наречий?» — слышится уже мне недоуменный вопрос. А потому, что наречие есть особая часть речи; оно, как говорят лингвисты,

просклонялось и сложилось с приставками задолго до нас; в наречии чрезвычайно сильно выражено именно то, что Белинский называл «народной физиономией языка». Это часть речи, которая уже не подлежит произволу ныне живущих.

Пройдемся бегло по царству русских наречий, и вы тотчас же увидите, сколь велики в них мыслеемкость, точность, вещественность и сколь незаменимы они.

Без спросу, бок о бок, вблизи, близ, вброд, ввек, ввысь, вглубь, вдаль, вдвое, вдвойне, вдобавок, вдоволь, вдогонку, вдоль, вдребезги, взаймы, взаперти, взапуски, вконец, воочию, вплавь, вповалку, впопад, впопыхах, впору (по мерке), *в пору* (вовремя), *впрямь, вскачь, всухомятку, втайне, второпях, оземь, окрест, отроду, от силы, отчасти, обсторонь* и т. д.

К этому следует добавить, что такие идиоматические речения, как «спустя рукава», «сломя голову», можно рассматривать тоже как наречия.

Обычно говорят, что наречий в языке русском насчитывается близко к двумстам. Я думаю, что это число можно по меньшей мере утроить. Но в том-то и дело, что на многих из них лежит печать литературного отвержения, ибо от них веет просторечием, и наши аристархи еще до революции успели поставить на них клеймо: «Простореч.», то есть «не рекомендуется к литературному употреблению».

Знаменательно, что временно́е наречие *«намедни»*, наречие общерусское, ввел в литературный язык еще Пушкин. При этом следует отметить, что просторечие «намедни» он применил не где-либо в сказке, а в «Евгении Онегине» (в «Путешествии Онегина»).

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...

Это ведь только кажется иному, что «намедни» с легкостью-де и полностью заменяется наречием «недавно». Да, действительно: «намедни» означает «незадолго», «недавно», но при условии считать не часами, а *днями*. И русский человек, не оторвавшийся от народа, понимает это, как понимал Пушкин. А вот когда в просторечии (также общерусском) произносится *«даве», «давеча»*, то здесь разумеют тоже «недавно», но этого же дня, то есть считая *на часы*. Такова различительная тонкость народного языка!

Буслаев писал: «Просторечие не только расширяет силу закона, стесняемую книжной речью, но иногда вернее и тверже держится первоначального закона, уже нарушенного в речи книжной».

Дело вовсе не сводится к словарному составу. Нахвататься слов из словаря Даля, Бурнашова или Толя — нет, из этого ничего не выйдет: язык писателя от этого народным не станет. Когда Белинский, вслед за Пушкиным, говорил о русских идиомах, о народности языка, то разумел не только словарь, а и тончайшие особенности самого речевого строя. И словосоставление и даже синтаксис народной речи еще многому и многому научат писателя!

Еще до революции литературный язык наш утратил такие речения, как *осенёсь, лётось,* означающие очень экономно, что речь идет не о какой-нибудь, а именно о только что минувшей осени или о лете. В сложении этих чудесных по своей точности и краткости временных наречий недаром участвует указательное местоимение *се* в форме *сь:* лето-*сь* означает лета *сего.*

Есть замечательная в русском языке приставка *су.* Она либо означает примесь, соединение с чем-либо, либо соответствует слову «недо»; суглинок, супески, супрядки (то есть совместное прядение в старину), сугорок (небольшая горка) и т. д. В животноводстве эта частица означает непраздность, беременность; об овце народ исстари говорит: *суягна,* о свинье — *супороса,* о кошке, собаке, выдре, кунице — *сукотна.* Какая жалость, что эта приставка, столь свойственная народному языку и такая выразительная и экономная, совсем почти исчезла у нас из языка писателей!

Частицу эту литераторы наши перестали чувствовать. В большинстве утратили они искусство своего народа — тончайшим образом пользоваться предлогами в функции приставок; иногда предлоги — префиксы в народном языке не только сдваиваются, но и страиваются. А ведь все это придавало новые, тончайшие, смысловые оттенки: по-над головою, попридержать, попризадуматься, поразузнать (дельце), попризанять (деньжонок), поприударить (за кем-либо) и т. д. Возьмем слитный предлог *па.* У него большая емкость смысловых оттенков. Писатели с хорошим русским языком и в наши дни широко применяют этот предлог, имеющий значение — *недо, под: последствие, унижение, низшую ступень чего-либо.* «Не так беды, как пабедки губят!» — говорит пословица. Паводок — малое половодье. Падчерица, пасынок, пащенок и т. п.

В языке народа выработалась за многие тысячи лет изумительная тонкость различения, отграничения. Примеров можно привести бесчисленное множество. Вот один — из языка крестьянства. У нас, в литературе художественной, о внезапной остановке впряженных лошадей говорится лишь так: «Лошади

стали». А для крестьянина или ямщика это выражение еще ничего не говорит: оно слишком расплывчато, общо. Как, отчего стала лошадь? Может быть, она дернула сразу, но не взяла, тогда надо сказать: лошадь *осеклась*. А бывает и так, что кони дернули недружно и затоптались на месте,— тогда лучше будет сказать: кони *замялись*. Если же лошадь остановилась оттого, что тесный хомут душит ее, тогда следует сказать: лошадь *затянулась*. Но если лошадь остановилась от жары или от быстрого и долгого бега, то здесь нужно сказать: лошадь *задохлась*. Выражение же «лошадь стала» останется лишь для таких случаев, когда лошадь вовсе выбилась из сил, когда ее надо выпрягать и кормить.

Не только в быту земледельца, но и в быту людей любой трудовой деятельности обиходный словарь явит нам такие же тончайшие степени смыслового разграничения.

Словарь русских садоводов, рыболовов, охотников, ткачей, слесарей, шахтеров, горняков, словарь русской женщины, созданный ею в домоводстве и в семейных делах,— словом, язык трудовых масс своей мыслеемкостью, точностью и вещественностью восхищал всех мастеров русской прозы.

Из числа современных прозаиков мне в первую очередь вспоминаются здесь имена Бажова, Всеволода Иванова, Пришвина, Шолохова, Леонова и Шергина — этого северного Бажова.

...Народ отбирает! Общеизвестно, что трудно соперничать с мыслеемкостью народных пословиц. Даль записал этих пословиц и поговорок свыше тридцати тысяч. Конечно, их было куда больше. Но через века народ пронес лишь элиту, отбор. В пословице словам тесно, а мысли просторно. Позволим себе горсточку примеров: «Были были — и бояра волком выли!» (Вероятно, от Разина и Пугачева). Вот о ханже и святоше: «Господи прости, да в чужую клеть пусти!» О дармоедах: «Ем, а дела не вем!» О лжепатриотах, а может быть, о купечестве: «И с бородой и с усами, да не Сусанин!» О хамстве: «Телом будь хоть в борова, лишь бы не того норова». Вот несколько «вольная»: «На работе ли, на ложе, а все лучше помоложе». О хапугах: «Жадна душа — без дна ушат». О земледельческом труде: «Пахать да боронить — денечка не обронить». И совсем недавние: «Колхознику в весну не до сну». «Сам-то сиз, да под ним-то «ЗИС».

Ученые-лингвисты и литературоведы иногда высказывали мечту о еще большем вокнижении не только словаря, но даже и синтаксиса просторечия. Так, Сахаров сказал однажды, что

ученый-грамматист будущего окажет услугу русскому народу и его писателям, если напишет книгу о синтаксисе просторечия.

Сделавшие своей специальностью «охрану» литературного языка от просторечия не любят вспоминать многочисленные выступления Горького с призывом к писателям изучать просторечие, учиться русскому языку у трудовых масс, у народа, на образцах живой речи. Зато с каким постоянством сторонники «расслабленного язычишки» привлекают против просторечия то высказывание Горького, где он осуждает — и совершенно справедливо! — злоупотребление диалектизмами вроде *пыжжай* или *подъелдыкивать*. Но просторечие в пушкинском понимании, которого мы и придерживаемся, конечно, не имеет ничего общего с этим злоупотреблением какофоническими диалектизмами.

А что касается взглядов Горького на просторечие в его истинном смысле, то здесь взгляды Алексея Максимовича и его советы писателям столь резко выражены, что никакое лжетолкование невозможно: «Писатель, не обладающий знаниями фольклора,— плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен».

И еще:

«Я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать сказки русские, былины, сборники песен, библию, классиков... Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне, в псалтыре, в песне песней Соломона... Вникайте в творчество народное, это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создает образ двумя, тремя словами».

Само собой разумеется, что и в художественной прозе и в стихах советских писателей есть уже немало образцов плодотворного использования русского просторечия, включая и синтаксис его. Предмет этот достоин особого обзора-исследования, здесь я приведу лишь два-три примера.

По-народному богат язык автора «Малахитовой шкатулки» уменьшительными, уничижительными и ласкательными суффиксами: «несмышленыш», «слепыш», «кубастенький», «из балагашка», «человечишко», «здоровьишко», «старичонко», «глазыньки», «высоконькая». Возникает невольное, и лишь на первый взгляд странное, сближение — Бажов и Маяковский: и у того и у другого необычайное богатство и смелость словообразо-

вания с помощью суффиксов. Эта суффиксация — одна из примет истинно народной речи: «горенка-безуголенка», «баиньки», «тошнехонько» и т. п.

Та же, что и у Маяковского (из одного источника!), многовидность глагольных форм у Бажова. Обычно достигается эта многовидность тончайшим применением приставок с соответствующими суффиксами зачинательности или повторности действия. Нередко применяет Бажов приставки, означающие: «недо», «не совсем», «чуть-чуть», а также приставки, которыми живой народный язык искони выражает малую степень чего-либо или сочетание, соединение, встречу. Примером можно привести такие формы у Бажова, как: *«запокачивался»*, то есть начал покачиваться; *«присугорбился», «сугорбый», «заподумывала», «припозднились», «пристанывает», «супорствовать»* (то есть говорить-перечить). Подобных слов у писателя множество.

Какой русский человек не поймет, что «сугорбый» — это не совсем «горбатый», а «пригорбоватый»! И чего ради лишаться литературному нашему языку всех этих оттенков?

Само собой разумеется, что у Бажова мы очень часто встречаем живое, народное окончание родительного падежа имен существительных мужского рода, то есть «у» вместо книжного «а»: «выше человеческого росту», «богатырского оклику» и т. д.

Я не ставлю перед собой задачу даже и беглого обзора просторечных словаря, морфологии и синтаксиса в произведениях советских поэтов. Конечно, на первом месте здесь стоит Маяковский. Сразу вспоминаются Исаковский, Твардовский, Смеляков, Недогонов, Прокофьев. Лексика, морфология и синтаксис этих поэтов дают много образцов литературного применения народной речи.

О языке произведений М. Пришвина пришлось бы в основном повторить сказанное о языке Бажова: он в глубокой степени народен. Язык Пришвина конструктивно сложнее, «грамматичнее». А все же и в нем мы находим обилие конструкций, наиболее свойственных народному просторечию. Среди них немалое место занимает народный стилистический прием так называемого «опущения» — когда опускаются легко подразумеваемые члены предложения. Например: «*Да, так бывает; вот бы только, вот-вот,— а и нет ничего!*» В этой пришвинской фразе — сгусток народной фразеологии, вся энергия просторечного синтаксиса! И это не в сказке, не в стилизации под просторечие, а из «Корня жизни» — поэмы.

Соединенные союзами и бессоюзные предложения строятся у Пришвина так же, как строятся они в просторечии.

Приведем несколько примеров. «И разошлись и полетели каждая сама по себе». «На рассвете дня и на рассвете года все равно: опушка леса является убежищем жизни». «Тут искать нечего: твой гриб всегда на тебя смотрит». «Гриб лезет и лезет». «Ехал сюда — рожь начинала желтеть». «Там — гриб сам, здесь — мы сами». «Листик, самый маленький, на паутине спустился к реке и вот крутится, вот крутится!» «Если я занимаюсь дома в часы отдыха каким-нибудь любительством: собака там есть у меня любимая, или птица, или там что-нибудь есть...» «Так выходит в лесу ежик, перебирает листву: он все знает. И так я за своим столом». «Не под землей они (богатства) где-нибудь, а тут вот прямо перед тобой лежат: поди и возьми!» «Слышу,— треплется звук, а спроси — и не скажу». «Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями — и прилетел». «Я кричу на Кадошку; он не слушает — гонит и гонит». «Мы все-таки вышли промяться»; «Думал,— шутит, и вдруг — бац!» «Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза!» «Вот он и погнал, нажимает, все ближе, ближе».

Так называемые присоединительные связи, свойственные главным образом народной устной речи, все более и более занимают умы советских лингвистов. Много работали над этим вопросом академики Л. В. Щерба и В. В. Виноградов; огромное внимание уделяют им академик И. И. Мещанинов, С. Е. Крючков, А. М. Земский, М. В. Светлаев, Н. С. Поспелов и другие.

Присоединительные связи осуществляются через присоединительные союзы, частицы, наречия и так называемые модальные слова: *а, а то, и потому, и,и вот, или, да и, и то, да, ведь* и т. д. К примеру: «Ее губы улыбались редко — *и то* слегка» (Тургенев).

Зачастую в предложениях устной речи присоединительные связи, например союз *и,* повторяются. Не является редкостью повторение этих присоединительных союзов и частиц и в классической прозе, не говоря уже о сказках и сказах.

Однако, по свидетельству одного из видных лингвистов наших дней, С. Е. Крючкова, «Незнакомство с вопросом о присоединительных связях заставляет неправильно оценивать их, вплоть до признания их синтаксическими ошибками».

Так, Д. Н. Богоявленский объявляет ошибками следующие предложения, написанные школьниками третьего класса в сочинении: «Они увидели дорожку. И побежали по той дорожке». «Они увидели молнию. И побежали домой». «Капа нарвала цветов. И сделала венок».

«Но,— справедливо возражает С. Е. Крючков,— приведенные из детских работ примеры вовсе не являются ошибочными. Эти своеобразные связи естественны для устной, непринужденной речи вообще и особенно для речи ребенка, еще не привыкшего пользоваться синтаксическими моделями письменного литературного языка».

Только и всего: не привыкли пользоваться моделями письменного языка!

Из стихов Твардовского можно черпать сотнями, если не тысячами, образчики и просторечного словаря, и морфологии, и синтаксиса: «А видать, тебя до ручки раскулачили, отец?»; «И дышит, как дежа!»; «На тыщи верст»; «По праву руку»; «Далеко-далеко...»; «Баял» (говорил); «Ихний батька»; « — А у не людей»; «Оберуч» (наречие, означающее: обеими руками); «Как навернет рогатками!»; «И свято линию берег, что Ленин указал!»; «Точка, брат!»; «И жизни даст!»; «А нужна, больна мне Родина, родная сторона!»; «Над тобой, над речкой!» (народнопесенный повтор предлога); «Голосует: — Подвези!»; «Чтоб в котле стоял черпак!» (то-есть до того густо сварено); «По которой речке плыть — той и славушку творить...»

Не случайно, а закономерно — и «Страна Муравия» и «Василий Теркин», почерпнутые из океана народной жизни, народные и по языку, признаны народом.

Овладение всей многообразностью, всеми силами и оттенками русского глагола, бесспорно, придает языку писателя черты народности.

Глагол — самая огнепышущая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь и назначение глагола — выражать само действие! Русскому глаголу, особенно в народной устной словесности, свойственна иногда некая как бы «надвременность». Так, в былинном языке для обозначения одного и того же настоящего времени применяется и будущее, и прошедшее, и настоящее: «А и будет Илья посреди двора, он вяжет коня да к золоту кольцу: проходил он во столовую во горенку». Или: «Пнет ногой во двери железные — изломал все пробои железные». Этот оборот гораздо живее, ярче, чем «пнул — изломал».

Или же так называемые «междометные» формы глагола: «хвать», «цап-царап», «стук» («стук его по голове!»), «звяк» («звяк в окно!»). Эти формы прекрасно служат для обозначения мгновенности действия. Сравни у Пушкина: «Он холку хвать и в стремя ногу» («Граф Нулин»). Или: «И вдруг бедняжку цап-царап!» (там же).

В высшей степени также благодатна для писателя (живит повествование) та форма глагола, которая внешне похожа на повелительное наклонение, а на самом деле вовсе им не является: «А он возьми и умри у меня под хлороформом!» (Чехов, Дядя Ваня); Случись тут мухе быть» (Крылов, Муха и дорожные).

Молодому писателю необходимо овладеть всеми видами и залогами, наклонениями и временами русского глагола. Лучшие учителя здесь — устное народное творчество. Глагол наш, если научиться управлять им с помощью префиксов (приставок) и суффиксов, откроет неисчерпаемые россыпи: глядел, глянул, поглядывал, заглядывал, приглядывал, оглядывал, проглядел и т. д.

Наш язык позволяет сказать и «увяз» и «увязнул», «повис» и «повиснул», «увял» и «увянул» — выбирай, что тебе нужнее!

Иному вдруг покажется почему-то, что «повиснул», «увязнул» — архаизмы, подлежащие изгнанию, и он требует их замены формами «повис», «увяз». И нет ему никакого дела до «поступи» прозаика или поэта, нет дела до благозвучия и прочих задач художника слова!

Слабое знание синонимов русского языка есть также одна из причин «скудословия», блеклости, невыразительности.

Синонимы, *подобозначные* слова! Есть ли что-нибудь более необходимое и прозаику и поэту, чем обстоятельный, толковый и полный синонимический словарь! Первой добротной попыткой в этом насущном деле был «Краткий словарь синонимов русского языка» В. Н. Клюевой. Ныне мы имеем уже двухтомный академический словарь синонимов.

Надо сказать прямо, начистоту, что усыхание, обесцвечивание русского языка в художественной прозе беспокоит многих, и не зря.

Глубинным языком русским, народным в том смысле, как говорил Белинский, писать очень трудно и накладисто! Куда легче, ухватив «проблему», скажем — любви, брака, семьи, сочинить роман об этом листов этак на пятьдесят, следуя при этом ходовому рецепту: «Пишите доходчивым, понятным языком». Как будто в этом все! А не лучше ли писать языком т о ч н ы м, м ы с л е е м к и м, в е щ е с т в е н н ы м? Ведь это и есть непременные, неотъемлемые, «атрибутные» признаки художественного языка!

Но тогда прощай трилогии, квадрологии и квинтологии! А что ж за беда? Вся проза Гоголя и Лермонтова вмещается в одном томе!

Тут да не подвергнусь я лжетолкованию! Все мы знаем образцы трилогий, вошедших в сокровищницу русской художественной литературы, и не тяготимся их объемом: например, «Сестры», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро».

Но, к сожалению, такого рода образцы — редкость. А между тем создание многотомных, пухлых романов стало делом почти обычным в нашей литературе; еще бы — оно так облегчается невзыскательностью к языку. Понятие «художественность» подменяется понятием «грамотность».

Бесцветный, лишенный признаков народности язык в первую очередь помогает быстро и пухло писать романы приключенческие и научно-фантастические. В большинстве из них — язык плохо переведенной иностранной прозы, языковая «калька». Сохраняется смысловое, событийное, но исчезают, испаряются цвета, краски, зримость художественного описания.

Горький не делал писателю никаких скидок. Все слова родного языка должен знать русский писатель: «Для писателя, «художника» необходимо широкое знакомство со всем запасом слов богатейшего нашего словаря и необходимо умение выбирать из него наиболее точные, ясные, сильные слова».

Но и к языку науки ее творцы предъявили такие же требования в смысле языка. «Наука должна сойти со своего пьедестала и заговорить языком народа»,— писал Тимирязев.

Здесь нет надобности рассматривать самый процесс засорения русского языка всякой иностранщиной,— это тема другой статьи. Скажем только, что если со Смутного времени начинается первый наплыв чужеземных слов (латинизмы, полонизмы), то XVIII век — это настоящая «языковая интервенция» со стороны немцев и французов (германизмы и галлицизмы).

Немало слов иностранного происхождения вошло и в язык советской науки: «лейнер» вместо «втулка»; «фляштауэр» вместо «испаритель»; «абдикация» вместо «отречение»; «аберрация зрения» вместо «погрешность зрения»; «апатия» вместо «вялость, расслабление, расслабленность, бесчувствие, равнодушие, безучастие»,— выбирайте любое, что более подходит к данному случаю.

Речь идет не о каком-то безоглядном гонении на все иностранные слова, а о борьбе с з а с о р е н и е м нашего языка н е н у ж н ы м и иностранными словами, когда легко можно обойтись без них.

Вслушайтесь, как вещественно и просто звучат слова или выражения: *свита горных пород, постель россыпи, ребровик;*

осреднение, щелочь, кислота, череп, позвонок, ключица, лопатка, голень, мышца, связка... А слово *«спутник»!*

В. И. Ленин прямо говорил, что употребление без надобности слов иностранных «затрудняет наше влияние на массу».

Оно было, да и теперь так. Неисчислимы вредные последствия такого засорения. Достаточно сказать, что этим внедряется в сознание миллионов советских людей ложная мысль о какой-то будто бы неполноценности русского языка сравнительно с западными, а тем самым поддерживается вредная идейка о нашей отсталости. Не следует забывать о неразрывном единстве мысли и языка! Языковое и идеологическое — неразрывны! Обращаясь к писателям, М. Горький с тревогой предостерегал: «Язык отстает от того размаха творчества, которым живет страна». И подчеркивал: «Повторяю еще раз: идеологически и художественно точное изображение нашей действительности в литературе повелительно требует богатства, простоты, ясности и твердости языка».

Великое дело требует великого слова. И кто же даст советским писателям это слово, равновеликое подвигам народа, как не сам народ-речетворец! А океан слова народного доступен ныне всем советским писателям, и черпать из него надо не уставая и горячим писательским сердцем!

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СИЛА РУССКОГО СЛОВА

Язык. Слово человеческое!.. Какая другая сила в мире может сравниться с его безмерною силою? Всегда неразрывно-единое с мыслью, рожденное в общественном труде человека, извечно с этим трудом взаимодействующее, слово является творцом всей мировой культуры, собирателем и управителем всей деятельности и отдельного человека, и народа, и всего человечества.

Недаром высшим интегратором, то есть объединителем, называл слово великий русский ученый Павлов. Каждый из нас знает, что слово, речь — устная или письменная — это необходимое средство общения между людьми, средство взаимопонимания, связи. Из бесконечного мира отдельных явлений и предметов ум человеческий через слово выделяет по-

нятия обобщенные, однородные, охватывающие сразу целый ряд, целую область предметов, сходных меж собою общими признаками. И обобщения эти — самых различных степеней: от низших до высочайших. Например, слово *дерево* есть уже обобщение довольно высокой степени: оно включает в себя не одно какое-нибудь дерево, а все деревья; и сосну, и березу, и дуб — короче говоря, все, что обладает явными для всех деревьев признаками — корни, ствол, ветви, листва (или хвоя), способность питаться соками, способность расти и размножаться и т. д. И, однако, слово «растительность» будет интегратором, обобщителем еще более высокой степени, ибо в это понятие и любая трава войдет и даже мхи. Слово *люди* объемлет собою любого человека, всех и каждого. Способность слова человеческого к обобщению или отвлечению (что то же) поистине безгранична. Мы знаем понятия охвата, емкости беспредельной: *человечество, вселенная, космос, бесконечность, вечность.*

Процесс отвлечения и обобщения понятий лежит в основе мыслительной работы человека.

Но в то же время кто из нас не слыхал, что есть еще и какое-то особое слово — слово **художественное.** Об этом, конечно, знает каждый, если даже он сам прямого отношения к этому художественному слову и не имел. Нередко приходится слышать: «Ну, я не художник слова. Художественное слово — это не моя область: это дело писателей, поэтов!» Здесь не все верно. Дело в том, что так называемая **художественность** присуща **самому языку народа.** А ведь каждый из нас, человек любого призвания, любого трудового пути, является прирожденным, если можно так выразиться, пайщиком этой неисчерпаемой сокровищницы народной речи. Писатель, поэт — они, в силу особой одаренности, которую совершенствуют далее неустанным трудом в слове, обладают тончайшей чуткостью к этому народному слову, умением отбора и целенаправленных сочетаний. Но, повторяю, **художественностью** преисполнен самый язык многомиллионных трудовых масс. Труд и речь неразрывны изначально, от века. Тут нет нужды в доказательствах: это — самоистина, как говаривал великий мыслитель языка Владимир Даль. Однако существует ошибочное мнение, что **художественность** народной речи присуща лишь произведениям устной словесности, то есть, былинам, песням, пословицам, поговоркам, загадкам, сказкам. И не слышат или забывают, что также глубокой художественности,— так что поучиться может любой поэт и писатель,— исполнена трудовая и житейская речь землепашца, садовода, охотника, рыбака, строителя, слесаря,

металлурга, заводского рабочего самых различных областей, речь летчика и самолетостроителя. Ибо исчерпывающей «триадой» художественности являются мыслеемкость, точность и вещественность речи. А этим преисполнен трудовой, производственный язык народа. Это — неисчерпаемый океан, из которого русские писатели и поэты почерпали и всегда будут почерпать и свое художественное слово.

Показать это легко, даже и на одном словаре, не касаясь или почти не касаясь синтаксиса или речевого строя.

Но вперед надо твердо установить, что́ именно будем называть мы **художественностью слова.**

Опираясь на Пушкина, на его прямые суждения об этом, а также и на суждения всех великих русских мастеров слова, надо признать, что **художественное** слово должно обладать тремя непременными признаками: точность, мыслеемкость и вещественность.

«*Точность и краткость* — вот первые достоинства прозы,— говорит Пушкин.— Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат». И не ясно ли, что глубина и обилие мыслей в слове, при его краткости, это и есть *мыслеемкость*. Тут все само собою понятно. Но что касается *третьего* признака художественности, который мы назвали *вещественностью* слова, то об этом надо сказать подробнее. Под *вещественностью* слова следует разуметь его *осязаемость, зримость, предметность, изобразительную наглядность, его соответствие материальному, вещественному миру.*

Когда в старину хотели сказать, что женщины в одной большой, неделенной семье редко, дескать, живут в мире,— свекровь и золовка с невесткой,— а вот, мол, мужики в такой семье легко уживаются друг с другом, то обычно эту житейскую истину выражали всем известной пословицей: «Две прялки врозь под лавкой лежат, а семь топоров — вместе». Сколь *вещественно-точно* избран здесь самый предмет для уподобления — прялка! Именно она, а не что-либо иное. Молодежь об этих прялках уже и представления не имеет, ну а кто ее видел,— помнит, до чего она угластая и неукладистая; две-то прялки и впрямь трудно уложить под лавкою рядом так, чтобы ни одна из них не соскальзывала с другой и не высовывалась. А топоры — иное дело: набросай их, они и все семь вместе будут лежать укладисто, спокойно.

А еще вспомнилась мне дагестанская пословица: «Два арбуза в одной руке не удержишь». Уж куда *вещественнее!*

Следует помнить, что все три признака художественности

слова — точность, мыслеемкость, вещественность — нераздельно едины, хотя и в разном соотношении. Легко представить себе такой случай, когда смысловая обширность или объем может идти во вред художественной силе слова, его вещественности, зримости, осязаемости.

Возьмем первые слова всем известной песни: «Во поле березынька стояла, во поле кудрявая стояла...» — попытайтесь заменить слово «березынька» словом «дерево»: «Во поле *дерево* стояло, во поле кудрявое стояло...» — и вам станет смешно. И не потому только, что разрушен склад, размер песни, а потому, что для каждого ясно, что эта замена уже отнюдь не художественна. Исчезла сразу вся зримость, вещественность, изобразительность! С березынькой навеки срослись живописующие эпитеты: «белая», «кудрявая». А слово «дерево» — смутно, оно не вызывает у нас в сознании никакого четкого, вещественного образа. Что же касается объема понятия, то, конечно, слово «дерево» в этом отношении гораздо шире, чем «береза».

Поэт, однако, предпочтет «березу», а не «дерево»; «полынь», а не просто «траву»!

Вспомним несколько слов и речений из области земледелия:

Целина, непашь, новь, целик, иначе говоря, не рушенная плугом земля. *Соха* — здесь обозначено даже само возникновение этого первобытного орудия: первобытный пахарь воспользовался рассоховатым, рогастым суком, *рассохой. Сохатый,* то есть олень, от того же корня «сох». Плуг *зажирает,* то есть вязнет, слишком глубоко берет. *Челом* издревле называл земледелец то лучшее, веское зерно, которое при вейке на ветру ложится, тогда как *охвостье* или *охоботье* относит ветром. Отсюда становится понятной пословица: «Чело не боится ветру, а охвостье относит». *Ярь, озимь.* Яровые уже *уклочились,* то есть густо, хорошо стали куститься. Л. Н. Толстой применял в литературном языке и это выражение, и многие другие земледельческие, крестьянские термины, не делая сносок и не опасаясь, что осудят: провинциализмы-де! Кстати уж скажем о примененных здесь нами частицах «де» и «дескать», чудесно и экономно означающих, что речь косвенная, а не прямая: подобного рода частицы у нас прямо-таки изъяты из литературного языка. И утвердилась нерусская, а от переводной прозы идущая, манера передавать размышления героя прямой формой, иногда — на протяжении целых страниц.

Вершить стог — разве понадобится рассказывать, на какой стадии находится работа?.. *«Отбей косу!»* — скажет на покосе

вручную один другому, и тот не схватится за брусок, ибо «отбить» не значит наточить, направить. *Отбить* — это холодной ковкой на бабке оттянуть, утончить лезвие.

Знающий язык своего народа писатель не спутает *пустошь* и *пустырь:* пустошь распахивают, а пустыри застраивают!

«Кошенину в стог не кладут!» (ясно: будет гореть). Ведь какое тонкое здесь различие: «кошенина» — это *только что* скошенная, непросушенная трава, еще не сено.

А вот маленький образчик языка животноводства:

— Кормите скот хорошо,— он чист, росл, гладок, силен, здоров... Стали кормить худо, впроголодь, плохим кормом,— скот начинает слабеть, паршивеет, болеет, совсем вид его становится другой; тот же скот, да не тот: сгорбился, космат стал, грязен...

Мне думается, любой художник слова не счел бы для себя зазорным подписать такой отрывок: столько в нем изобразительной силы!

Коснемся коренного, исконного терминологического словаря русских плотников-строителей. *Отбить черту* — сколь много слов понадобилось бы, чтобы выразить другими словами это действие: отбить черту — значит оттянуть за середину натянутую бечевку (нитку), натертую мелом или углем, и враз отпустить ее, как струну,— так, чтобы осталась черта на площадке...

Заершить гвоздь — означает покрыть гвоздь зарубками, насечками, которые будут накрепко удерживать его в стене, в бревне. На этом примере одновременно можно показать *потаенную* метафоричность народного языка: гвоздь своими зарубами уподобляется как бы ершу, когда его тянут против пера. Вот эти потаенные, извечные метафоры, вросшие в самую ткань языка, «тропы», которыми насыщен в особенности язык трудовых масс,— они-то и объясняют, как по-настоящему народный писатель может сильно впечатлять языком, чуждым специальных метафорических прикрас. Писатель, припавший к неиссякаемому и прозрачному источнику народной речи, скорее кого-либо постигнет, что́ именно подразумевал Пушкин под «прелестью нагой простоты».

А сейчас, минуя целый ряд профессий, сделаем резкий переход к языку гидростроительства.

Помню, во время забивки плотинной сваи с копра, копёрщик махнул рукой и крикнул:

— *Дошла — оттряхивает!*

И все стало сразу ясным и зримым: свая забита до отказа, так, что стальная баба, ударяя по оголовку этой сваи, только

отскакивает... А какие чудесные слова: *водохранилище, водосвал, водобой, гидроузел, устои, быки, понур, ряж, плотина, ограждающий вал!* И ведь подобных слов в гидростроении сотни.

С давних пор привлекал меня своей изобразительной силой производственный словарь горняков и металлургов. Ознакомиться с ним впервые пришлось мне в годы моей работы в горнопромышленном округе, в Сибири, а в дальнейшем я занимался им особо: уже с языковедческой и писательской целью.

Я хотел бы поделиться с читателями некоторыми своими наблюдениями над словарем горнорабочих и металлургов. Сколько русскости в этом словаре, сколько целеустремленности и плодотворного творчества народного! Вот где поучиться борьбе с засильем иностранщины,— завет Ленина, данный нам в статье «Об очистке русского языка».

Начнем с Ломоносова. По справедливости стоит этот исполин «на челе» русского горного дела и отечественной металлургии! И не занося руки своей на слова международного научного обихода, взятые от латинских или греческих корней, он в то же время обогатил русскую науку и промышленность целым рядом своих, русских слов-терминов.

Читаю его «Первые основания горной науки» — и вот словно бы перед россыпью русского слова стоишь изумленный и зачарованный!

«Руды к плавлению приуготовляют через разбор, толчение, промывку и обжигание... Твердую и убогую руду толкут в толчеях, которые много подобны хлебным толчеям... Как руды просевать... Перемывка руд... Как руды обжигать... Описание обжигальных печей... Плавильные печи... Мехи... Как плавить... Домна... Крица... Спои... Сталь... Чугун...»

Вот Михайло Васильевич рассылает свой наказ о том, чтобы отовсюду присылали ему образцы различных горных пород. Порадуйтесь прозрачности, живописности и русскости этой ломоносовской инструкции:

«...В камнях должно прилежно смотреть: 1) цвету хороших, белых, глухих или сквозных, стеклу подобных, совсем черных или с белыми искрами, пятнами, струйками, или белых с черными... 2) различать по разной твердости: крепкие, как кремень, сыпкие и ломкие... 3) угловатые, слоистые, ноздреватые...»

Да! — это вам не «квенчингирование», не «хит-эксчейнджер» (из словаря перегонки нефти).

Вслушайтесь, именно — вслушайтесь, в ломоносовское описание золота:

«Ради его мягкости нет в нем никакой упругости, то есть такой силы, через которую бы оно после согнутия само расправиться могло. И понеже от упругости, с плотностью совокупленной, звонкость тел зависит, для того чистое золото подает весьма мало продолжительного звона. При сем имеет оно удивления достойную вязкость и тонкость в своих нечувствительных частях, которою прочие металлы несравненно превосходит, ибо иные художники, которые листовое золото делают, один гран золота в лист шести дюймов длиною и шириною разбивают» [1].

Перейдем к языку трудов Павла Петровича Аносова, великого русского металлурга, постигшего «тайну булата» и сумевшего златоустовским булатом превзойти прославленные булаты Востока. Это человек легенды! Крупнейшие металлурги России прошли аносовскую школу. Под влиянием идей Аносова начала развиваться производственная и научная деятельность «отца металлографии» Д. К. Чернова. Первым в мире, еще в 1831 году, Аносов применил микроскоп, дабы исследовать микростроение стали на полированных и травленых шлифах. Первым выяснил химический состав стали и значение углерода как главной примеси. Его по праву называют зачинателем производства легированной стали. Короче говоря, труды его и опыты неописуемо многосложны. И уж тут-то кажется, как в таком разе не соблазниться иностранщиной в языке! Надо ведь вспомнить, что это были времена Николая I, когда засилье немецких ученых, да и вообще немцев, было ужасающее. Однако вот образчики языка аносовских ученых трудов.

«Не следует торопиться выливкою, ибо скоро вылитая сталь делает большую усадку... Выплавка чугуна и передел его на сырцовую сталь и железо... Науглероживание железа... Удобно-ковкий металл — литая сталь...»

Вот Павел Петрович дает определение: «Булатами называется всякая сталь, имеющая узорчатую поверхность. Обнаружение узоров называется вытравкою... Чем слоеватее сталь в изломе... тем явственнее узоры... Но если в ней (в плавке) заключаться будет 1/100 марганца, то она становится тверже, хрупче или вообще грубою» [2]. Здесь, в частности, обращает на себя внимание сравнительная степень: хрупче. Сейчас вряд ли многочисленные «дозорные» из расплодившихся без всякой нужды «служб языка» пропустили бы в языке писателя

---

[1] М. В. Ломоносов, Труды по минералогии, металлургии и горному делу.— Полн. собр. соч., т. V, М. 1954, стр. 404.

[2] П. П. Аносов, Собр. соч., М. 1954, стр. 13, 15 и 125.

такое слово. А надо сказать, что великаны русской науки, и отнюдь не одни только классики металлургии, по-хозяйски смелы в словообразовании! Однако вернемся к словарю трудов Аносова.

«Ж е с т к о т е к у ч е с т ь шлака».— Сколь смело и точно! «Зубила для насечки пил, как одно из удобнейших средств для испытания стали, скоро начинают выкрашиваться...» «Настоящий булат отличается от сварочного неподражаемым для искусства расположением узоров».

Поистине поэтом становится великий металлург, едва заговорит о булате:

«Булатную сталь легко было отличить от других сортов стали по наличию на ее поверхности самых затейливых узоров. Кроме того, ряд свойств был присущ только булатной стали. Так самый чистый звон клинка говорил о совершенстве металла. Булатный клинок должен был на лету рассекать газовый платок, а при разрубании железа его лезвие не должно было иметь зазубрин».

А вот аносовская разбивка узоров булата: полосчатые, струистые, волнистые, сетчатые, коленчатые.

Когда он описывает изготовление златоустовской булатной стали, то его описание становится отрадным для каждого, кто умеет радоваться силе и красоте «природной русской речи»:

«Металл медленно нагревался до светло-красного цвета. Ковку начинали на тихом ходу молота, и слиток обжигался равномерно со всех сторон до темно-вишневого цвета... Оружие всякого рода достаточно закаливать в сале, предварительно нагретом почти до точки кипения, ибо дознано из опытов, что в горячем сале закалка бывает тверже».

Исследуя словарь и обороты ученейших трудов Д. К. Чернова, М. П. Павлова, И. П. Бардина или же, сохранившейся по его воспоминаниям, речи простого, неученого «начальника доменных печей» Михаила Константиновича Курако, в котором, однако, академик Бардин чтит своего учителя,— с чувством благодарного изумления видишь, что выплавка сильного и точного русского слова была неотрывна у них от выплавки стали. И в том и в другом они прежде всего были сынами народа и патриотами!

Аносов такими словами завершает свой классический труд: «Оканчиваю сочинение надеждою, что скоро наши воины вооружатся булатными мечами, наши земледельцы будут обрабатывать землю булатными орудиями, наши ремесленники выделывать свои изделия булатными инструментами».

Что же касается доменщика М. К. Курако, то академик Бардин так говорит о нем: «Он — истинный патриот нашей Родины и непревзойденный мастер доменного дела, отвоевавший у иностранцев командные высоты по руководству доменными печами... Целью М. К. Курако было завоевать свободу действий, независимость от иностранного капитала».

К этим справедливым словам должно добавить лишь, что и в языке науки эти великие деятели русской металлургии стремились избавить народ от «языковой интервенции»!

Здесь нет возможности рассмотреть более подробно производственно-ученый язык всех названных мною металлургов. Но вчитайтесь хотя бы в курс лекций Д. К. Чернова «Сталелитейное дело», и вы опять-таки, даже будучи неспециалистами, начнете все видеть и понимать, как бы сложен и многотруден ни был предмет.

Вот, например, черновское определение, что такое сталь:

«Таким образом, сталью называется такое соединение железа с углеродом... которое обладает ковкостью и тягучестью как при обыкновенной, так и при высокой температуре, и вместе с тем обладает свойством получать закалку после нагревания до красного каления и быстрого затем охлаждения».

Или:

«Необходимо, однако, заметить, что сталь с увеличением содержания углерода приобретает свойство, не замечаемое в мягком железе,— распадаться на части, рассыпаться или пушиться перед расплавлением».

Но вот Дмитрий Константинович выступает как высокий авторитет артиллерии,— сложность еще более головоломная! — Изменилась ли его ученая речь? — Ничуть. Она осталась все той же глубинно русской, благородно простой речью, исполненной точности, вещественности и мыслеемкости.

«Сжатие внутреннего ствола орудия происходит также не непрерывно, а волнами наибольшего сжатия... Очевидно на изделие нельзя употребить всю болванку: усадочную воронку невозможно уничтожить под молотом». Вот он описывает извержение шлака (при отливке): «Иногда это выбрасывание так сильно, что буквально плещет через край горла, а из дымовой трубы огненный дождь осыпает местность на несколько сажен в окрестности».

А вот — из главы «Устройство больших изложниц»:

«Слишком быстрая отливка также ведет к образованию трещин в наружном слое болванки, вследствие того, что тогда вся изложница наполнится жидкой сталью раньше, нежели в

нижних и средних поясах болванки успеет образоваться достаточно толстая кора для сдержания внутреннего напора жидкого столба стали».

Чистейший русский язык!

Само собой разумеется, не от себя же измышлен он отцами нашего горного дела и металлургии: это исконно русская производственная речь горнозаводских рабочих. Неопровержимо доказано, что древнерусская металлургия уже в VIII—IX веках не только существовала, но древнерусские кузнецы и оружейники владели весьма сложной технологией приварки стальных лезвий к железному обушку. Русские мечи славились и на Западе и на Востоке. Естественно, что народ воплотил и в горнозаводском деле всю образность, силу и зримость своего словаря. В языке горнорабочих поэтическая метафора, уподобление не приходят извне, через развернутый «стилистический», так сказать, прием, а они заложены в самом термине. Это увидит каждый. А еще поражает на слух и замечательная «оркестровка», звукопись прямо-таки державинская, достигаемая обычно обилием плавных согласных — *р* и *л*.

Великие наши металлурги учились производственному языку у рабочих.

А теперь примите пригоршню из этой золотой россыпи.

Свита горных пород, кряж, хребет, изверженные породы, ребровик, кремень, сланцы, роговая обманка. Изломы: раковистый, землистый, занозистый, крючковатый. Спайность (т. е. способность минерала колоться по плоскостям). Побежалость (т. е. радужные отливы). Блеск различают: смоляной, стеклянный, жирный. Руда, рудник, рудная жила, рудные тела. А они, эти «тела» залегают в земле по-разному: пласты, жила, залежь, гнёзда, вкрапления, мешок, почки, пластовая жила, секущая жила... Коренное месторождение, полезные ископаемые, пустые породы, обнаженные породы, россыпь, самородок, буровая разведка, рудоискатель, обогащение породы, бегуны, известняк, песчаник, валун и т. д. и т. д.

А язык шахтера! Шахты бывают наклонные, а бывают и слепые, то есть без выхода на поверхность. У нее, у шахты,— устье и ствол. Проходка шахты, забой, забивная крепь, венец крепи (а сколько разновидностей этих крепей!); выемка плывуна (можно ли удачнее, смелее назвать, да еще с использованием так называемого мертвого суффикса *-ун,* тот сильно мокрый песок, что является подчас бедствием при любых подземных работах: ибо он плывет!)

И, наконец,— недра!

А разве язык летчиков и самолетостроителей уступит по красоте и силе! Вот образчики: *угол атаки крыла*; *сила лобового сопротивления; пологое снижение; подъемная сила самолета; поступь винта; ометаемая винтом площадь; размах крыла; лопость; корень лопости*... Кстати, об этом слове: если мы вздумаем изъяснить это короткое и для всякого русского человека столь самоочевидное понятие «лопость», то придется написать, что это «основная рабочая часть лопостного аппарата со специально профилированной несущей поверхностью, воспринимающей аэродинамические или же гидродинамические силы».

Изумителен по своей самобытной русской красоте язык специальных сочинений «отца русского самолетостроения», гениального ученого Николая Егоровича Жуковского. Он убежденно и целеустремленно трудился над очищением своей науки от излишней, «непереваренной» иностранщины. Есть у него, к примеру, высокого научного значения труд «О парении птиц». Он преисполнен высшей математики, однако вот образчики словесного изложения в этом труде: «Парением называется такой вид полета птиц, при котором она не машет крыльями...»

Как хорошо, как зримо и просто!

Или: «Орел, расположив свои крылья против ветра, поднимается вверх по ветру и, не сделав ни одного удара крыльями, забирается кругами на большую высоту...»

Разве это не художественно?

Да! воистину, россыпи и самородки русского слова!..

Так зачем же нам то и дело, надо не надо, протягивать руку на Запад за английским или немецким термином?!

И Николай Егорович Жуковский, и решительно все великаны русской науки — и Павлов, и Тимирязев, и академик Крылов, и многие другие — стремились очистить ее язык от забивающей ее, без нужды нахватанной иностранщины. К сожалению, их большие усилия в этом направлении остались необъединенными. При Академии наук хотя и была создана особая комиссия по научной и технической терминологии, ставившая одной из главных задач утверждение и создание русских научных обозначений, но здесь, нам кажется, было некоторое упущение: в этой многочисленной комиссии не было **ни одного ученого языковеда.** А ведь, естественно, ему-то больше всех других должны быть ведомы и необъятные сокровища русской речи и многообразнейшие, поистине неистощимые возможности русского словообразования, законы создания новых слов.

Да и не излишним было бы, нам кажется, привлечение к этому огромному патриотическому делу и писателей и поэтов.

Здесь пригодилась бы — и весьма! — их высокая чуткость к родному слову и присущая истинному художнику слова смелость в словообразовании.

Разве не прав был великий мыслитель и металлург Ломоносов: «Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи». А ведь это более двухсот лет тому назад сказано! Так неужели за это время великий русский язык захирел?! Правда, высказав гордое суждение, что «язык российский... велик перед всеми в Европе», Ломоносов тут же горестно и язвительно замечает: «Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему трудов прилагали!»

— Но, помилуйте, скажут, опять вы нам приводите суждения Ломоносова! Спору нет, великий человек, но ведь — русский из русских, и немудрено, что он столь нетерпимо настроен к заимствованиям из чужих языков!

Что ж, можно сослаться на... Маркса и Энгельса. Их-то уж никто, конечно, не заподозрит в русском национализме. Однако это же Фридриха Энгельса слова: «Какой красивый русский язык: все преимущества немецкого без его ужасной грубости»[1].

А насчет засорения чужеземными словами своего, немецкого языка он выразился сурово: «Мы лучше выразим свои мысли чисто немецким языком без примеси французского или греческого... Мы прогоним туда, откуда они пришли, все эти нелепые чужеземные повадки и моды, все излишние иностранные слова» (Маркс и Энгельс Соч., т. II, стр. 68 и 80).

Что же касается Маркса, то Вильгельм Либкнехт вспоминает о нем: «Он не терпел злоупотребления иностранными словами»[2].

В неизмеримом океане языка многомиллионных трудовых масс найдутся слова, способные изъяснить и выразить все на свете, слова, достойные великого народа и великой эпохи, такие, как *спутник*, такие, как *звездолет*, как *Советы!*

Может ли быть сомнение, что могущественнейший и тончайший в любых применениях русский язык равновеликим обра-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXV, стр. 362, и т. XV, стр. 239.

[2] Вильгельм Либкнехт, Из воспоминаний о Марксе, М. 1958, Госполитиздат, стр. 13.

зом способен служить всем задачам и нуждам нашей великой социалистической индустрии, науки, наконец, нуждам подлинно народного, высокохудожественного искусства?!

О РУССКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Заголовок более чем странный! Этак мы скоро начнем говорить о «французскости» французского языка, о «чешскости» чешского и т. д. и т. д. А между тем загляните в любую школьную грамматику, и вы убедитесь, что степенями сравнения обладают лишь *качественные* прилагательные, а *относительные* степеней сравнения не имеют. *Русский, чешский* (язык) — прилагательные относительные, а стало быть, неуместно говорить о разных степенях «русскости» или «чешскости».

Да! На первый взгляд это, много раз слышанное мною возражение, как будто и справедливо, с чисто формальной, грамматической стороны. Но если вы привыкли вдумываться в самое существо языка, во всей его цельности — и книжного и устноречевого,— то вы, скорее сердцем, чем ве́деньем, примете реальность большей или меньшей «русскости» в языке разных людей.

Мне вспоминается тут суждение великого чешского поэта Яна Неруды о языке его старших собратьев — Эрбена и Божены Немцовой: «Так *чешски,* как писали Эрбен и Немцова, не пишет из нас, нынешних, никто».

Стало быть, нисколько не сомневался чешский поэт и мыслитель, что можно писать чрезвычайно *чешски,* а можно и не очень чешски. Но изучите взгляды великих русских писателей и мыслителей языка, и вы увидите, что решительно все они точно так же судили о языке. Бо́льшая или меньшая *русскость русского языка* — это было для них совершенно реальным понятием. Незачем загромождать статью бесчисленными образчиками такого именно суждения, буквально от Тредиаковского до... Маяковского. Здесь нам всего важнее определить хотя бы некоторые **признаки,** этой «русскости», подобраться к объему самого этого понятия. И вряд ли мы найдем для этого более выгодное, более отчетливое суждение, чем суждение Виссариона Белинского о языке Ивана Андреевича Крылова: «О языке его нечего и говорить; это неисчерпаемый источник русизмов... Множество стихов Крылова обратилось в пословицы

и поговорки, которыми часто можно окончить спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь теоретическими доводами».

Итак: **«неисчерпаемый источник русизмов»** — вот что такое язык Крылова по определению великого критика-мыслителя. Тогда самый простой путь — это взять да и рассмотреть язык крыловских басен: в чем его резкие особенности? — и мы, несомненно, приблизимся к пониманию того, что́ такое русскость русского языка.

Для начала мы таким путем и пойдем. Но само собой разумеется, что один Крылов заведомо не мог исчерпать, отобразить всю эту «русскость» языка,— да ее, вероятно, еще долго-долго не исчерпают, не воплотят и грядущие поколения поэтов и писателей: хватит на всех!.. Это я к тому говорю, что и здесь мне придется приводить образцы не только из одного Крылова.

И еще одна необходимейшая оговорка, дабы взгляды Белинского в этой области были представлены в их подлинном виде: он понимал слово «русизм» не только в чистом языковом, словесном смысле, а и в более обширном, в смысле истинной *народности,* национальности писателя и поэта. Он следовал здесь пушкинскому воззрению: «Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов»,— заканчивает Пушкин свою статью «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». «...Русизмы бывают не в одном языке, но и в понятиях...» — утверждает Белинский. Я продолжу выдержку из этой его статьи о Крылове, и не только потому, что здесь представлен сгусток воззрений Белинского на истинную и на сусальную, мнимую народность у писателей и поэтов — об этом не мешает вспомнить и нам! — а еще и потому, что выраженные здесь взгляды великого критика и революционного демократа служат нам твердой опорой, когда мы предъявляем требование истинной, глубокой народности и к словарю и к речевому строю писателей.

«Чего бы, казалось, легче русскому быть русским в своих сочинениях? — вопрошает Белинский.— А между тем,— утверждает он, отвечая на этот свой вопрос,— русскому гораздо легче быть в своих сочинениях даровитым, нежели *русским.* Без таланта творчества невозможно быть народным; но, имея талант творчества, можно и не быть народным... После Пушкина, первого русского поэта, который был велик и национален,— после Пушкина,— говорит Белинский,— все пустились в народность, все за нею гонятся, а достигают ее только те, которые о ней вовсе не заботятся, стараясь, быть только самими собою».

Далее он жестоко высмеивает языковые подделки под народность, щеголянье некстати нахватанными — якобы ух какими русскими! — словечками, вроде: *дбка, пенник, однокашник, однокорытник, важно, почтенно, нехристи* и т. д. и т. д.— словом, весь маскарад лженародности. И здесь поневоле мне припомнились некоторые современные нам образчики того же самого порядка из числа, увы, многих и многих. Имен авторов я при этом называть не стану, в подлинности же образчиков прошу не сомневаться.

Вот некий очеркист выступает по телевидению. В производстве, о котором он говорит, не везде еще покончено с тяжелым ручным трудом. Об этом хочется сказать ему и посильнее и поновее. И вот миллионы людей у экранов слышат: «Как жаль, что такая *дюжая* работа все еще производится вручную!» Совсем не по-русски. Работа дюжей быть не может; так можно сказать о человеке: «Мужик ретивый был работник, и *дюж,* и свеж на взгляд» (Крылов). Надо полагать, что очеркист этот в поисках русскости, народности стал жертвой легкомысленного налёта на словарь Даля. Ну, а где была редакция?! Другой очеркист, очевидно желая как-то по-особенному восславить Ленинград, назвал его красоту... *неизбывной:* «Неизбывная красота Ленинграда». И этакое печатается в газете! Спросить бы этого литератора: разве красота уж такое горе, что ее следует избывать?!

Эфир не менее долготерпив, чем бумага! Он тоже все стерпит, но требовать русскости русского языка и в печати и в эфире — это отнюдь не «пуризм»: речь идет ведь о воспитании чувства языка у миллионов и миллионов людей!

Примеры можно было бы приводить еще и еще.

Вот один писатель вместо *«близнецы»* написал без всякой надобности *«близнята»;* казалось бы, что тут такого? Действительно, в иных областях нашего Отечества еще осталось и такое обозначение для близнецов. Но как раз только «нечувственник» родного языка и мог ухватить такое словечко, не ведая, что народ с давних пор употребляет его в первую очередь совсем в ином смысле — узкоанатомическом.

Другой пишет, что его герой «решил остаться в колхозе *напрочь».* Уж лучше бы он «напрочь» уехал из колхоза. Толку от него все равно будет мало.

С давних пор интеллигент-белоручка, потомственный буржуа-горожанин, чьи предки не возлагали руки своей на плуг, не натирали мозолей на ладонях рукоятью молота или топорищем,— с давних пор через пресловутые гимназии утвер-

ждал он, в сущности административным путем, свои языковые нормы. Так называемое *употребление* есть, конечно, огромная, а для основоположников нашего языкознания — и верховная сила в языке. Но ведь это только до тех пор, пока печатное слово не возобладало над устноречевым, и до тех пор, пока у рычагов этого могущественного орудия не встали вскормленники грамматики Греча, люди, оторванные от материального, производственного труда, чуждые его *вещественности*.

Не могу я, например, поверить, чтобы сам трудовой народ, творивший свои изумительные пословицы и поговорки, землепашец по преимуществу, мог обессмыслить многие из этих пословиц и поговорок, истинность которых подтверждала ему изо дня в день сама действительность земледельческого труда. Несомненно, порча эта внедрялась через интеллигентско-городское употребление, через литературу. Она шла сверху. Доказать это легко.

Возьмем для начала постоянно слышимую у нас поговорку: «Сила солому ломит!» Какой смысл мы влагаем в нее? А вот какой. Куда, дескать, соломе, какой-то, *жалкой* соломе выстоять против силы! Но в том-то и дело, что никогда такой пословицы народ не создавал, да и не мог создать, ибо земледельческий, полевой, так сказать, опыт каждый день говорил ему прямо обратное: что *солому-то* как раз *очень трудно сломать*, гораздо труднее, чем палку. Жница-крестьянка во время жатвы могла изо дня в день в этом убеждаться, когда свивала из пучка этой соломы так называемое «перевясло» для снопа. Вот этот вековой опыт и отразился, с гениальной мыслеемкостью, точностью и вещественностью, в пословице: «Сила и солому ломит!» Вот именно — «и»; в этом «и» смысловое средоточие всей пословицы. Невзыскательным, простым языком смысл ее можно изложить так: да, очень, очень трудно сломать солому, однако может найтись такая сила, что даже и солому сломает!..

И знаменательно, что истинно народный поэт, Некрасов, не пошел вослед этой порче. И у него мы видим пословицу в ее истинном, народном виде:

Сила ломит *и соломушку* —
Поклонись пониже ей,
Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей...

(«Песня Еремушке»)

То же самое случилось и с пословицей «Делу время, а потехе час!» Ее постоянно слышишь в том смысле, что, дескать,

делу надо предоставлять много времени, а на потеху один час, и того мол, довольно! Иначе говоря, «потеха» здесь осуждается, на нее смотрят косо. И опять-таки этакой «аскетической» пословицы народ не создавал. На полях «Урядника сокольничья пути» рукою царя Алексея Михайловича эта пословица написана в ее истинном виде: «Делу время и потехе час». Известно, что Алексей Михайлович был страстно привержен к соколиной и всякой иной «потехе», и вот в защиту-то ее он и приводит народную пословицу. Это «и» здесь необычайно существенно; кстати сказать, очень тонкая конструкция народной русской речи: не осуждайте, мол, и «потеху»; пусть и ей будет своя пора, свой «час»!

То есть, как видите, позднейшее употребление перевернуло эту древнюю пословицу прямо-таки на сто восемьдесят градусов и отняло у нее всю ее тонкость и мудрость.

И опять-таки знаменательно, что Сергей Тимофеевич Аксаков — сам, как знаете, страстный певец и приверженец охотничьей «потехи» — приводит эту пословицу в ее настоящем народном виде.

Весьма раздражает меня, когда гостеприимный какой-либо хозяин во время затянувшейся беседы с гостем, видя, что чего-то долгонько не накрывают на стол, вдруг скажет своей жене с лукаво-многозначительным намеком: «Ну, однако, соловья *баснями* не кормят!» Вот ведь как испортили замечательную пословицу: «Басни соловья не кормят». А «басни» (от глагола «баяти») означало в древнерусском языке *«песни»*. В чешском языке *«басень»* и доселе означает стих, а *«басник»* — поэт. То есть: «Песни соловья не кормят!» — вот что означала сия загубленная пословица, и сколько же здесь житейской мудрости, наблюдательности и как бы печальной усмешки над участью поэтов, песнетворцев!

Всегда дивился невразумительности известной поговорки *«С суконным рылом, да в калашный ряд»*, пока не докопался наконец, до ее первоначального, народного вида: *«Куда нам с посконным рылом, да в суконный ряд!»* Вот это иное дело! И сколько здесь классовой, я бы сказал, горечи и язвительности: не ласков бывал прием в «красном», *суконном* ряду покупателю-мужику в *посконной* рубахе! А «калашный ряд», «суконное рыло» — прямо-таки бессмыслица.

Не много-то осталось смысла и в пословице *«Лес рубят — щепки летят!»* — уж очень убога, простовата «сентенция»; да ведь летят же щепки и когда избу строят, бревна отесывают. Но вот когда народ говорил: *«В лесу рубят, а в мир щепки*

летят!» или: «В Москве рубят, а к нам щепки летят!»,— то сколько в этом было поэтической мудрости иносказания, сколько историзма!

Не знаю, с чьей «легкой руки» и когда началась порча пословицы «Суженого, ряженого на коне не объедешь», знаю лишь, что в своем первозданном, народном виде она звучала так: «*Сужбного-рожбного* и на коне не объедешь!» Здесь была отражена древняя, еще языческая вера народа в *судьбу,* иначе говоря, в «суд» (отсюда — «сужоный»); во втором слове этой пословицы — «рожоный» — заключено то же самое поверье: «уж что кому на *роду* написано»; «рожда́ницею» в старину называли рок, судьбу, жребий. А с другой стороны, слово *«сужбное»* относили к *жениху,* а *«рожбное»* — к невесте. За это неопровержимо говорит пословица: «Одно дитя рожоное (дочь), другое — сужоное (зять)».

И в заключение этого перечня еще один пример:

Мы привыкли говорить: *«Пьяному море по колено».* Пословица и в таком виде исполнена доброго смысла, а все-таки в ее исконном виде она была еще лучше, гораздо остроумнее: *«Пьяному море по колено, а лужа по уши!..»* Тут весь пьяница, со всем его хвастовством: мне, дескать, и море нипочем! — и с его жалкой беспомощностью: споткнувшись и упав среди лужи, может в недобрый час и утонуть!

Мне часто приходит на мысль такой вопрос: вот и печать, и радио, и школа — силы в языковом воспитании неимоверные; они вступают нередко в борьбу и с многовековым употреблением народным и, глядишь, начинают в том-другом подавлять его, «исправлять»; а что, если попытаться восстановить истинное, первично-народное звучание испорченных, обессмысленных пословиц? Удастся ли это? И как скоро?.. Во всяком случае, попытка отнюдь не бесполезная! Все лучше, чем преследовать в русском языке отдельные слова и выражения, которые кому-то показались «неграмотными»: одному, например, слово *«пошив»;* другой додумался представлять язык всех писателей на суд своего очень умного двенадцатилетнего племянника и не стесняется печатать эти благоглупости; третий лютует против слова *«учёба»* и, стремясь доказать недоказуемое, допускает извращения исторической истины. Так, вопреки несомненному существованию слова *«учёба»* в быту русских людей еще в шестнадцатом веке («А мастеру за учёбу пять рублев»), решительно заявляет, что слово это проникло-де в нашу бытовую речь всего лет тридцать пять — сорок тому назад. Мало этого! Опять-таки вопреки правде, гонитель слова «учёба» пытается уверить, что

в языке Ленина оно имело только отрицательный смысл: «зубрежки». Чтобы опровергнуть это утверждение, достаточно привести следующие ленинские слова: «Чтобы осуществить учебу, мы должны не допускать политической ошибки» (т. 33, стр. 288, изд. 4). Неужели о *«зубрежке»* говорит здесь Владимир Ильич?

Достается и *славянизмам,* которых в современной русской речи — добрая половина. Один известный писатель, вздумав теоретизировать в языке, страшно ополчился на ходовые у нас славянизмы, придающие торжественность и величавость, когда этого хотят достигнуть. При этом он спутал торжественность с «напыщенностью»: вот уж отнюдь не синонимы! «Кроме того, этот язык напыщен,— поучал литератор,— «вручил» вместо «передал», «преподнес» вместо «подарил», «завершил» вместо «окончил», «проживает» вместо «живет»; «дворец бракосочетания» вместо «свадебный дворец»...» Как видите, чисто вкусовое гонение на синонимы, обилие которых, как ведомо каждому, есть одно из славнейших достоинств русского языка. Увы! У нас часто забывают еще и то, что слово *«синоним»* означает вовсе не тождественное, а лишь *подобозначное* слово, вносящее некий особый оттенок. Так старинные грамматисты и переводили слово «синоним»: *подобозначие.* Сравним хотя бы слова «закончил» и «завершил». Если на торжественном заводском собрании будет сказано, что план минувшего года завершен с превышением, то это безусловно *стилистически* будет и тоньше и торжественнее, чем «план был *закончен».* Да и правильнее, более в духе русского языка. Знамя *вручается;* высокие производственные награды тоже *вручаются,* а не *«передаются».* Что же касается слов *«живет»* и *«проживает»,* то спасибо народу надо сказать, что он создал из этих подобозначных слов, никого не спросясь, два различных понятия, а не шпынять его за это!

Но уж заведомо нигде столь много не упражняется гонителей, как в травле «мужицких», «грубых» слов, именуемых, правда, «провинциализмами», «областными» словами. Приведу один случай, поистине анекдотический.

Одна девушка-редактор, стажирующая при издательстве после окончания факультета редактуры, заспорила со мной об этих самых «деревенских» словах. С ходу она показала нам достижения своей *учебы:* «Да! — сказала она.— Я считаю, что есть активный словарный фонд и есть пассивный словарный фонд. А эти ваши крестьянские слова — к чему они?! Никто сейчас не «засупонивает» лошадь, не прилаживает эти... как их?.. «гужи». Это все у писателя — в пассивном фонде!..»

«Значит, вы тоже вычеркнули бы слово «гумно»? — спросил я, дивясь и смиряясь перед ее ученостью. Боже, как она покраснела! Словно бы услыхала непристойность. Глаза ее гневно сверкнули. Но через силу сдержалась. «Еще бы!..» — резко произнесла она. И отвернулась, и отошла... А я подумал, глядя ей вслед: счастлив же бедный Пушкин, что не дожил до такого редактора со своим дерзким, а в глазах этой суровой девушки даже и неприличным признанием, что ныне, дескать, любит он:

...Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи;
Перед гумном соломы кучи...

(«Путешествие Онегина»)

Да ведь и И. А. Бунину досталось бы: «Я лежал на гумне в омёте, долго читал...» «Тоже, нашли себе место, где читать! А еще писатель!» — могла бы сказать ему сия благовоспитанная и суровая redactrice...

Но — вернемся к языку Крылова. Поговорим о словаре, а потом — и о речестрое. При самом первом охвате крыловского словаря бросится вам в глаза его вещественная, предметная насыщенность и *верность трудовому быту* народа. Пускай одной лишь строкой затронута в басне профессия, так сказать, лица, избранного ею, но будьте уверены, что великий русский баснописец не погрешит против принятых среди людей этого круга слов и выражений. Возьмите для примера басню «Крестьянин и топор». «*Мужик избу рубя...*» — начинается она. А далее: «Меня ты попусту иступишь, а всё *избы не срубишь*»,— безупречное плотницкое да и вообще крестьянское выражение! Для горожанина-интеллигента «срубить» означало — *свалить с помощью топора, ссечь:* «срубить дерево». Как это можно «срубить избу»?! За это же наказывать надо! А в народном русском языке и в древнейших летописях — не «построить город», а именно *«срубить* город».

Но вот баснописец решил облечь свое поучение в понятие, взятое из мира портновского. И тотчас появляются речения: *«продрался»* (на локтях); *«наставлю»* (рукава),— опять-таки безупречно профессиональные («Тришкин кафтан»).

Гряды у Крылова огородник взрыл *«под огурцы»* («Огородник и философ»); и доныне огородница-хозяйка иначе не скажет. «Волк на псарне» — и вот перед вами замелькали: псарня,

овчарня, хлевы, псари, ловчий; *«снявши шкуру»* и *«гончих стая»*...

Видно, не раз видывал Крылов, с какой бережностью вывозили, бывало, на базар глиняные горшки. Трудно было и выбрать из крестьянско-ремесленного быта что-либо иное, требующее такой же осторожности в перевозке. И недаром же сам народ отметил сие в пословице: «Гневлив с горшки не ездит!» И самой же первой строкой — *«с горшками шел обоз»* — Крылов очень многое сказал человеку, не оторванному от крестьянского быта. И когда раздается последняя, катастрофическая строка: «Прощай, хозяйские горшки!» — читатель, рассмеявшись, скажет: «Ну, конечно, я так и знал!..»

Где опаснее всего грызуны в сельском хозяйстве? Да, конечно, в закромах, в житницах, *в амбарах.* Там-то всего нужнее и кошка. И, само собою разумеется, что пресловутая завистливая «щука» просит мышей *в амбаре* половить»,— в амбаре, а не вообще где-то там...

Демьян потчует несчастного Фоку ухой,— и вы посмотрите, какое роскошество подлинно деревенского гурманства развертывается перед вами в самом словаре «Демьяновой ухи»: «Вот *лещик, потроха, вот стерляди кусочек...»*

Река у Крылова, разбушевавшись в *«водополье», «озими»* разрывает и *срывает мельницы.* Да ведь в одной только этой крохотной горсточке речений — целая, если вдуматься, картина, написанная красками русского крестьянского быта, выраженная его живым языком.

Так можете вы пройтись по очень многим басням Крылова, и всюду в его словаре вы откроете кидающуюся в глаза *вещественно-предметную* насыщенность словаря и *верность этого словаря трудовым будням* русского *крестьянства дореволюционной поры.* Нечего и пытаться перечесть образчики крыловского просторечия: *«От радости в зобу дыханье сперло...»; «горланит вздор»; «с натуги лопнула и околела»; «не женихи, а женишонки»; «дивовался»; «я солнцев брат»; «они* — чтоб *наутек»; «не давывал»; «чай, он зубаст»;* «что у меня его *с руками оторвут»; «дирал бесчинно»; «тащатся шаг за шаг»; «по мне,* ни к черту не годится»; «кусочек *урвала»; «толк ногой»; «хвать* друга камнем в лоб» и т. д. и т. д. У Крылова просторечно все: и самый отбор слов и все приемы словообразования и формообразования — его суффиксация и префиксация.

Русской речи свойственны щедро рассыпаемые уменьшительные, ласкательные, увеличительные и уничижительные суффиксы, так называемые, по-ученому, «суффиксы оценки».

Долгое время в книжной речи находились они на положении гонимых. Но устная словесность русского народа, подобно и разговорной речи, уснащает этими суффиксами не только имена существительные, но и прилагательные, и наречия, и даже глаголы — словом, любую часть речи; зачастую в паре с таковым суффиксом работает и префикс (приставка). От всего этого речь приобретает яркость, живость, страстность — словом, «экспрессивность». Кажется, ну как можно дать ласкательный, уменьшительный вид... глаголу? А русская мать-крестьянка или нянюшка бесстрашно разрешает этот вопрос: склонясь над засыпающим или прихворнувшим ребенком, она говорит ему. *«Спатеньки* хочешь?» или: *«Питеньки* хочешь?»

Вот этими русизмами, этой народностью изобилует и речь Крылова: *близёхонько; голубушка; шейка; носок; голосок; сестрица; немножечко; тростиночка; гвоздик; ночка; смирнехонько; домок; травка; кустик* и т. д.

Другая разительная, самоочевидная черта крыловской речи — это изобилие в ней вводных, служебных, или, как еще именуют их, модальных, слов и речений (от слова «modus» — наклонение). Сюда входят всевозможные союзы, междометия, наречия и частицы. Без них вообще немыслима речь живого человека и художественная речь. И здесь, попутно, нельзя не выразить горестного недоумения, что у нас даже книжки пишутся, где оные вводные или модальные частицы и речения подвергаются осуждению; а иной не стесняется даже обозвать их «словами-паразитами»!

Но всмотритесь хотя бы в этот далеко не полный список частиц по их значению, и вы увидите, может ли русская речь существовать без них. Они бывают: *усилительные:* ведь, даже, то и, ни, же; *ограничительные:* лишь, только; *указательные:* вот, вон, это; *вопросительные:* разве, ли, неужели, ужели, ужель; *восклицательные:* что за, как («Что за уха, да как жирна!»); *уточнительные:* как раз, подлинно, именно; *неопределенные:* -то, -либо, -нибудь, кое-...

Объединяя все это под именем *«модальных»* речений, можно сказать, что и союзы, и междометия, и наречия, и частицы наполняют нашу речь кровью и страстью, делают ее трепетной, выразительной, живой. Уверенность, сомнение, боязнь, допущение, сожаление, надежда, одобрение и осуждение — словом, все чувства говорящего или пишущего, любые оттенки его отношения к предмету речи, все это выражается модальными словами. А какая часть речи — это даже и не важно. К счастью (вот уже и модальное словечко!), ведущие представители нашего языкозна-

ния давно уже оценили эту область как едва ли не главнейшую в русской стилистике.

Но вот потрясающий случай, как «причесывали» блюстители «литературных норм» самого Крылова, рассказывает в своей книге «Правильность и чистота русской речи» известный русский языковед В. Чернышев.

Над этим случаем, ох, как следует задуматься! В издании басен Крылова 1898 года крыловское окончание «у» родительного падежа мужских имен («разговору... сору... досугу... духу...) в басне «Пустынник и медведь» всюду исправлено редактором на окончание «а». Причем редактор не постеснялся искалечить рифму, даже уничтожить ее. И получилось вот что:

О чем у них и что бывало разговор*а*...
. . . .
Я по сию не знаю пору.
. . . .
Так из избы не вынесено сор*а*...

А далее к слову «другу» рифмою стало не «досугу», а «досуга»; крыловское «час от часу» переделано в «час от часа»; «духу» превратилось под рукою варвара-редактора в «духа», несмотря на то, что следующая за ней, рифмующая строка гласит: «Сам думает: молчи ж, уж я тебя, воструху».

Приводя этот пример безграмотного, лжеученого произвола, Чернышев негодует: «В современной печати заметно стремление совершенно истребить форму с «у». Такая нивелировка речи происходит *с явным ущербом для языка*, в котором формы на «у» свойственны определенным случаям употребления и, кроме того, отличают речь простую, разговорную и особенно народную».

А не то ли же самое, беспардонное и мнимоученое, чисто административное вмешательство в язык русского народа осуществилось у нас, когда в обязательном порядке все мы должны писать: «фельдшеры... корректоры...» и т. д. и т. д. Насильственно, вопреки народу, вопреки суждению авторитетнейших русских языковедов, зачем-то восстановлено ветхое, угасшее употребление этих слов. Зачем это непонятное движение?! Уж в крайнем случае, скажите, что дозволены о б е формы. Ведь та форма, которая ныне запрещена, она, во-первых, н а р о д н а, она есть дальнейший шаг в д е м о к р а т и з а ц и и языка (так именно и оценивает ее, в частности, академик В. В. Виноградов в своей статье «Русский язык», помещенной в Большой Советской Энциклопедии). Наконец, признавали ее н а р о д н о й,

побеждающей такие лингвисты, как Буслаев, Шахматов, Бодуэн де Куртэне. Что же случилось, откуда такая напасть?!

Кажется, вопрос ясен. Великие и выдающиеся языковеды были на стороне народного употребления, то есть форм на *а, я* вместо — *ы*. Кстати сказать, в отношении имен существительных иностранного происхождения, имен, означавших деятеля, лицо, существовало одно мудрое практическое правило; его легко было запомнить, оно почти не знало исключения и следовало ходу народной орфоэпии. Вот это правило: если такое слово пришло к нам *с ударением на последнем слоге* (офице́р, инжене́р, майо́р), то в именительном падеже множественного числа будет окончание *ы*, а ударение остается на *прежнем слоге:* офице́ры, инжене́ры, майо́ры. Если же — не на последнем слоге, как, например, в словах: профе́ссор, до́ктор, сле́сарь, ре́ктор, корре́ктор и т. д., то в именительном падеже множественного должно писать и произносить с окончанием *а*: профессора́, доктора́, слесаря́, ректора́, корректора́ и т. д.

Не правда ли, просто и хорошо!

Тот же В. Чернышев решительно осуждает «педантическую стилистику». «Нередко педантическая стилистика имеет притязание **предписывать** правила языку вместо того, чтобы **изучать** его законы... Этим нередко грешили у нас иностранцы, пишущие русские грамматики, например Греч...» (Выделено мною.— *А. Ю.*)

Многие так называемые народные рассказы Льва Толстого, такие, как «Чем люди живы», «Свечка», «Два старика», «Много ли человеку земли нужно», «Кавказский пленник» и другие, в языковом отношении также неиссякаемый источник «русизмов».

Прежде всего я отметил бы какое-то безудержное пристрастие к *глаголам*, во всей их народной, устноречевой многовидности и надвременности, да еще и при постоянных повторах. Какого гонителя повторов не приведет в бешенство хотя бы такой отрывок: *«Было* это дело при господах. Всякие *были* господа. *Были* такие, что смертный час и Бога поминали и жалели людей, а *были* собаки, не тем *будь* помянуты. Но хуже не *было* начальников, как из крепостных: как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье *было»* («Свечка»). Здесь глагол «быть» повторен в маленьком отрывке семь раз. Не думает ли кто-либо, что это — «стилистическое неряшество» Толстого?! А вот образчик из рассказа «Два старика»: *«Почуял* мальчик

хлеб, *потянулся, ухватил* ломоть обеими ручонками, с носом в ломоть *ушел. Вылезла* из-за печки еще девочка, *уставилась* на хлеб» (подчеркиваю глаголы). *«Ждал, ждал, соснул, проснулся,* еще *посидел* — нет товарища. Все глаза *проглядел.* Уж солнце за дерево *зашло* — нет Елисея.— Уж не *прошел* ли, *думает,* мимо меня, пока я *спал.* Да нельзя же не *видать* ему. В степи далеко видно. *Пойти* назад, *думает,* а он вперед *уйдет...»*

Разве не ясно, что Толстой намеренно умножает глаголы?

В этом отрывке я хотел бы, попутно, остановить внимание читателя на подлинно русском строении так называемой несобственно-прямой речи: «Уж не *прошел* ли, *думает*, мимо меня... Пойти назад, *думает*, а он вперед уйдет». «Несобственно-прямая речь» — это когда автор как бы передает внутреннюю речь своих героев. Дело большой стилистической тонкости! Русская, народная манера — **никогда не затягивать слишком** эту внутреннюю речь героя. Знать меру! Наш родной прием — вводные частицы: «мол», «дескать», «де»; а после них, с разгону, так сказать, можно дать несколько прямых, собственных мыслей героя. Применяются речения: «думает», «смотрит» (например: «Смотрит: ах, ты такой-сякой, да разве я это тебе велел?! Ну, погоди ж ты!..»). Но боже сохрани затягивать эту прямую внутреннюю речь героя на многие и многие страницы! Когда я читаю этакое, я уже ясно вижу, что человек начитался иностранных романов и усвоил французскую манеру. Для русской речи свойственны еще и такие приемы: «Подходит ко мне: «Дай прикурить!» Ишь ты: ночью да прикурить просишь! Не на таковского напал!» (Рассказ о нападении бандита на прохожего). Как видите, здесь прямо, без всяких пояснительных слов «говорит», «а я подумал», рассказчик прибегает к прямой речи...

Но, повторяю, во всех таких случаях русский язык соблюдает строгое чувство меры. «Проснулся, *чего не приснится, думает»* («Много ли человеку земли нужно»).

Об этом довольно. Однако при всей полноте в перечне признаков народности русского языка у Толстого нельзя не упомянуть о так называемых безличных оборотах. Их много. Они изумительны. «Стой! *Затопало* копытами по дороге. Остановились, слушают. *Потопало,* как лошадь, и *остановилось.* Тронулись они — опять *затопало... Фыркнуло* — слышит. Что за чудо! *Свистнул* Жилин потихоньку,— как *шаркнет* с дороги в лес, и *затрещало* по лесу, точно буря летит, сучья ломает» («Кавказский пленник»).

Мне скажут: «Да! Все это чудесно. Вашей «русскости», на-

родности здесь немало. Но ведь «Анну Каренину» и «Войну и мир» этаким языком все же и Толстой не напишет!..» Что правда — то правда! Но и «Кавказского пленника» и «Чем люди живы» языком «Анны Карениной» тоже не напишешь!..

Моим ответом на предъявляемый мне часто такой вопрос пусть явится пушкинское понимание *состава* русского языка. Пушкин именует язык наш «славяно-русским». «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива»,— говорит он. В чем же счастливость этой судьбы? А именно в том, по мнению Пушкина, что «стихия» нашего языка образовалась от навеки неразрывного слияния речи книжной («славенской») с «простонародным наречием»: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились: и *такова стихия, данная нам* для сообщения наших мыслей». Весьма и весьма существенно, что здесь приведенные суждения Пушкина содержатся как раз в той же статье о переводе на французский язык басен Крылова.

И однако, никак нельзя забывать, что в *допушкинский* период было время, когда язык образованной верхушки слагался по образцу французского, а изучался по немецким руководствам. И не вдруг-то этот чужеродный след исчезает!

Кого не приведет в уныние вялый, нерусский речестрой и скудный словарь рассказа, повести или романа! Такие книги, в лучшем случае, читатели листают, охватывая одним взглядом сразу все сюжетные повороты на десятках страниц. Но ведь советский писатель — это не поставщик «чтива»! У многих такая беда — от ранней грамотности и еще отроческой начитанности в дурного сложения «беллетристике».

Хорошо, если человек, пусть в меру своих сил, учился писать у Крылова, у Толстого, но если его учителями в художественном слове стали, по неведению его и в силу несчастных обстоятельств жизни, Шеллер-Михайлов, Авсеенко, Светлов (Александр) или даже Боборыкин,— добра не жди: гладкопись, «нуль русизмов»! Из только что названных мною Боборыкин был еще лучше других, однако вот образчики его «русскости» из лучшего романа «Китай-город»: «В теле он считал ее гораздо рыхлее и болезненнее, скептически относился к ее бюсту». Пишут и ныне так, бывает!..

Вот второй пример: «За чистотой блюла сама Марфа Николаевна, а Любаша, напротив, оставляла везде следы своей непорядочности».

А тут еще захлестывает *неудержимый* поток иностранной беллетристики, поток подчас мутный и нередко в отвратительных переводах. Тут уж не до «русскости» языка! Даже у талантливых беллетристов их речестрой да и все приемы рассказывания зачастую буквально неотличимы от переводной французской беллетристики. Вот, подите отличите — кто русский писатель, а кто французский: несколько отрывков для сопоставления. Назовем их римскими цифрами I и II.

I. «Было около половины восьмого. Улицу пересекала пара: Мари-Адель де Бреа и ее супруг. Оба майора встали им навстречу. Капитан де Бреа был еще в штатском. Видный мужчина».

II. «Поднялся ветер. Моросило. Андре вспомнил глаза Жаннет — какая необычная женщина».

«...Она ему поверила и, выслушав его признания, отдалась ему если не с любовью, то с душевной приподнятостью...»

I. «Он дико посмотрел на нее. Как можно задавать такие вопросы, когда не сегодня-завтра война! Легкомысленная Ивонна! Она достала свои пузырьки, стала мазать ногти лаком. Ивонна, разумеется, заметила, что дело тут не только в войне, но Жан и сам этого не понимал».

II. «Он понял, что значит «сгорать от стыда». Да, его прошлое постыдно! Как мог он говорить этому бездушному человеку? Не трудно догадаться, о чем Братейль беседует с Пикаром: хотят поставить Францию на колени. Мстят за тридцать шестой. Уведут войска в Сирию, в Финляндию, все равно куда... И впустят Гитлера».

Я мог бы продолжать эти сопоставления сколько угодно: и опытнейший стилист не отличит, кто — кто. Разницы столько же, сколько в составе воды, зачерпнутой одновременно и в правую и в левую горсть!

Переводная калька!..

Мне скажут: «Но разве это не закономерно, такое сходство, если оба — и русский и французский писатель — говорят о Франции, о Париже? Стоит ли такое сходство осуждать? На это я ответил бы только ссылкой на маленький бунинский рассказ, который так и назывался «В Париже»: он овеет вас и Францией и Парижем, но не стал же Бунин воспроизводить в своем писательском языке французский склад речи (все эти манерные для русского читателя восклицания: «Легкомысленная Ивонна!..», «Видный мужчина») и перенимать весь ритмико-мелодический рисунок, все синтагмическое членение прозы французского автора.

Большевик Гусев в «Аэлите» Толстого — он и на Марсе русский!

«Гиперболоид инженера Гарина» не только голым сюжетом забирает читателя, а и языку радуешься!..

Пиши о чем хочешь: о полетах на Луну, на Марс и даже на туманность Андромеды, о диверсантах и о работе уголовного розыска, только не чурайся русского языка!

...В заключение мне опять вспоминаются замечательные слова Яна Неруды:

«Одевались мы в какую-то поэтическую мировую униформу, и, однако, в великую поэтическую армию, в мировую поэзию, были приняты только те, кто пришел в своем собственном одеянии, вернее сказать, в *народном*!»

ЭПОХА И ЯЗЫКОВОЙ «ПЯТАЧОК»

Ни тени ущерба
виною нашей
да не претерпит наш язык.

Святополк Чех

Довелось мне как-то прослушать в народном суде одно бытовое дело. Спрашивают свидетельницу. Лифтерша. Седая женщина.

— Скажите, свидетельница, из-за чего испортились отношения между вашими соседями?

— Право, не знаю,— последовал простой и короткий ответ.

Вызывают другую. Молодая особа. Яркая. Секретарша одного учреждения. Вопрос — тот же самый. Повела плечом, скривила губы и этаким протяжно-изнеможенным голосом:

— Абсолютно не в курсе дела!

И еще мне вспомнилось. Рассказывал мне Борис Викторович Шергин, этот — и в сотый раз не премину сказать! — замечательный русский писатель, под стать Пришвину и Бажову, писатель, сильно способствовавший вокниженню севернорусской речи. Слушал он однажды, как наставляли своих учеников, будущих исполнителей былин и сказаний, сперва одна руководительница, а затем другая. Первая была почти неграмотная.

Просто — сказительница. А другая — фольклористка, кандидат наук. Будущих чтецов народного художественного слова, естественно, волновал вопрос: что́ и для кого читать?

— Слово к человеку примеряйте! — кратко посоветовала им сказительница.

— Ориентируйтесь на интеллектуальный горизонт, на сферу интересов аудитории! — изъяснила другая.

Поняли, конечно, но ведь ни одного же русского словечушка! Частные как будто примеры, но их же неисчерпаемое множество. И житейская наша речь и художественная русская литература невероятно засорены иностранными словами и синтаксическими оборотами, при этом без всякой надобности, а просто в силу некой умственной лени, небрежения к родному языку, чем кичились в былые времена гуляющие по заграницам дворянчики. Свидетельством того, что именно от дворянского сословия исходила зараза безнародности, сиречь космополитизма, могут быть среди множества прочих, хотя бы эти строки Бестужева-Марлинского: «Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому... К довершению несчастья мы выросли на одной французской литературе, вовсе несходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка».

Но помилуйте, скажут, не слишком ли уж далекие «предки»? Да нет, эту же самую «родословную» называет и Ленин в своем гневном выступлении против засорения русского языка ненужной иностранщиной.

Все еще не выполненным остается и нами, писателями, и учеными завет Ленина об очистке русского литературного языка. Это вопрос большой и не только чисто литературный или научный, а общенародной важности политический вопрос.

Ленин прямо указывал, что: «Перенимать французско-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык».

Образчиком вредного чужесловия Ленин избрал слово «будировать»: «Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться»,— разъяснял Ленин. Его «озлобляет,— он так прямо и говорит,— употребление иностранных слов без надобности». «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?»

Особенно досталось в его заметках о языке тем из писателей, которые *способствуют* засорению русского языка иностранщиной.

«Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?» — писал Ленин.

В этом призыве Ленина произвести «очистку русского языка» от излишних, примененных без надобности иностранных слов заключена глубочайшая мысль, над которой следует поразмыслить именно писателю-художнику, а шире говоря, и всякому пишущему литератору: почему это новичку в грамоте, «недавно научившемуся читать», Ленин прощает злоупотребление иностранными словами, а работнику пера, литератору, то есть человеку, надо полагать,— большого образования, «простить этого нельзя»? Ответ на этот вопрос может быть один: чем образованнее человек, тем глубже он обязан знать язык своего народа. А следовательно, и надобность хвататься за иностранное словечко у того, кто дерзает писать статьи или книги, должна встретиться гораздо реже, чем у человека с недостаточным образованием.

У нас всю вину за вторжение множества «варваризмов» в наш язык любят сваливать на петровские преобразования и на самого Петра. Здесь лишь частица правды. Борясь с косностью боярско-поповской, Петр, вынужденный с бешеной быстротой наверстывать упущенное, иной раз вместе с какой-нибудь производственной новинкой или заморской обиходностью, в «жару ратного спеха» втаскивал и чужеземные наименования («фортеция», «кавалер», «ассамблея», «мортира», «бриг», «мичман» и другие). Однако следует со всей решительностью сказать, что, во-первых, Петр тяготился этой нуждой и приказывал отыскивать в языке русском достойные переводы, а во-вторых, тех, кто чрезмерно усердствовал в засорении русского языка чужесловием, он одергивал и вразумлял.

«Так писать, как внятнее»,— приказывал Петр. В одном из повелений своих посланнику за рубежом Петр пишет:

«В реляциях своих употребляешь ты зело много польских и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои **писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов»**.

Известно, что Ломоносов, избегая излишних заимствований в иностранных языках, ввел в науку слова и речения: *воздуш-*

ный насос, законы движения, зажигательное стекло, земная ось, огнедышащие горы, преломление лучей, равновесие тел, удельный вес, кислота, квасцы, щелочь, основание, крепкая водка, негашеная известь, наблюдение, движение, явление, частица...

Однако он же счел нужным оставить: *диаметр, квадрат, пропорция, минус, горизонтальный, формула, сферический, атмосфера, барометр, микроскоп, оптика, сулема, селитра, поташ* и т. д.

Это были слова и речения международного, интернационального порядка, идущие почти сплошь от греческих и латинских слов.

Прямую опасность для развития русского языка, для его самобытной силы и красоты усматривали в «языковой интервенции» великие люди нашей Родины. И не ради наклонности к цитатничеству приведу я сейчас несколько таких суждений, а чтобы видна была историческая преемственность борьбы. Застрельщик ее, холмогорский крестьянин-помор Михайло Васильевич Ломоносов сказал: «Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи».

Русская сатирическая литература прошлого века дала нам смешной и отвратительный образ помещицы-космополитки, которая раболепствует перед всем французским и калечит русский язык,— это образ госпожи Курдюковой, созданный поэтом Мятлевым в его стихотворной сатире «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей дан л'Этранже» (то есть опять же «за границей», но только по-французски). Образчики ее языковой мешанины таковы:

Вот в дорогу я пустилась,
В город Питер дотащилась
И промыслила билет
Для меня э пур Анет,
И пур Харитон де медник
Сюр ле пираскаф Наследник (то есть на пароходе «Наследник»).

Госпожа Курдюкова считала обязательным к русским существительным присоединять артикль, частицу, означающую род — мужской или женский: «ле дом», «ля западня». Русские у нее «ле Рюс»:

Здесь ле Рюс переходили
Рейн в тринадцатом году.

Растление русского языка офранцуженным помещичьим сословием вызывало издевки Сумарокова еще за сто лет до Мятлева. Так что ко второй половине XIX века космополитка госпожа Курдюкова — это был уже отстоявшийся, обобщенный образ. И, скажем попутно, госпожа Курдюкова — это родная сестра госпожи Простаковой, которая умилялась тем, что учителем для своего Митрофанушки она держит немца Вральмана.

Сумароков понимал, что «восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка... Язык наш толико сею заражен язвою, что и теперь уже вычищать его трудно...»

Это были времена, когда космополит-помещик говорил примерно так: «Моя аманта сделала мне индифилитэ», что в буквальном переводе означало: «Моя возлюбленная сделала мне неверность», проще сказать — изменила. Вместо «соперник» предпочитали говорить «риваль» и т. д.

Хочется напомнить читателю о замечательных трудах декабриста Павла Ивановича Пестеля, направленных на изжитие ненужной иностранщины, которую, как вы знаете, усиленно насаждал Николай Первый, с его «ордонанс-хаузами», «экзерциц-плацами», «шпицрутенами» и «экзекуциями». Творец «Русской Правды», поистине гениальный Пестель охватил даже и эту, чисто языковую область, применительно к будущему государственному устройству и строительству вооруженных сил будущей Российской Республики. Все государственные учреждения, от высших до низших, все военные чины и должности были обозначены Пестелем по-русски. И можно не сомневаться, что, победи декабристы на какой бы то ни было срок и учредись «Народное вече» и «Временное Верховное Правление»,— и эта часть их великих замыслов осуществилась бы. Из огромного списка русских терминов, данных Пестелем, многие ныне, почти через полтора века, покажутся нам наивными. Но кое-что прижилось и многое заслуживает внимания. Так «Русская Правда» декабристов уничтожала слова: «провинция» и «губерния» и вводила вместо них: «область» и «округ».

А дальше, посмотрите же, какие имена стоят в перечне борцов за самобытность нашего языка! Виссарион Белинский: «И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово — значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать».

Высказывание, не допускающее двух толкований! И это — Белинский говорит, который, как ведомо, отнюдь не принадлежал к неистовым гонителям всякого иностранного слова.

Тургенев был еще решительнее: «Берегите чистоту языка как святыню. *Никогда не употребляйте иностранных слов.* Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас» (курсив здесь и дальше мой.— *А. Ю.*).

А вот — Герцен: «Я первый снимаю с себя вериги чужого языка и снова принимаюсь за родную речь».

Редко вспоминают у нас в спорах о засорении русского языка варваризмами суждение Горького: «Нет смысла писать «конденсация», когда мы имеем свое хорошее слово — «сгущение».

Еще реже — Маяковского, который считал одной из важнейших задач поэтов — «...сделать язык русским».

Замкнем этот краткий обзор возвратом к суждениям В. И. Ленина. Писателям они в особенности памятны, ибо как раз писателям и не прощал Ленин употребления иностранных слов без надобности. И вот что особенно в этих ленинских суждениях останавливает внимание литераторов: считая иностранное слово «дефекты» излишним, Владимир Ильич предлагает вместо него щедрый выбор русских синонимов: *пробелы, недочеты, недостатки.* А ведь в этом, именно — в синонимическом знании народного словаря, и есть корень знания писательского. Была же у Ленина возможность назвать свою гениальную статью о коммунистических субботниках «Великая инициатива». Однако он предпочел — «Великий почин», то есть призвал к литературной жизни слово старинное, почти вышедшее из книжного обихода, коренное русское слово.

В свое время «Литературная газета» начала было отличное патриотическое дело, выступив со статьей А. Добрянского «Сорняки низкопоклонства», в которой приводились вопиющие примеры засорения терминологии нефтяного дела (дробной перегонки нефти) английскими словами.

Какой поток писем-откликов хлынул в редакцию! Здесь представлены были люди разных профессий и разного образования. У всех наболело! Жаловались инженеры, жаловались кондитеры. В ненапечатанном письме инженера-нефтяника В. Пархоменко сообщалось, между прочим, что книга «Стахановцы бакинских полей», предназначенная для рабочих, настолько была засорена английскими терминами, что трудно было понять советскому рабочему даже сущность «крекинга». Еще бы! Без всякой нужды мы втащили в дробную перегонку нефти, где неоспоримо русское первенство, сотни таких слов, как луб-

рикетинг, микстер, стреппинг, чиллер, ресивер, рисайкл, квенчинг, кулинг, салютайзер, инхибитор и т. д. Где ж тут вещественность, зримость для русского нефтяника?! Какая чудовищная расточительность умственных сил и времени! Это сплошь чужесловный словарь! И какой тормоз здесь росту русских рабочих кадров!..

А между тем, по сообщению того же самого инженера, диссертация одного молодого нефтяника, целиком посвященная русской терминологии крекинга, была признана делом излишним!..

Писатель, зодчий художественного слова, должен вместить в свое сердце, в свое сознание весь (без скидок!) словарь своего народа. Стоит ли здесь оговаривать, что словарь и речестрой нераздельны! Словаря без синтаксиса и не бывает. Однако разговор о писательском синтаксисе, всегда стилистическом, личном, о соотношениях его с житейской речью народа и его устной словесностью,— это разговор особый. Здесь же — только о словаре.

Я особо прошу читателя вдуматься в нижеследующее. Трудами наших фольклористов, да и вообще людей, изучающих живой русский язык, все копятся и копятся бесценные сокровища самоцветов и перлов русской речи. Но так как пуристические окрики со стороны современных каченовских, отлучение просторечия от книги, от газеты, от радиовещания запугивают и прозаиков и поэтов, то сокровища народного просторечия лежат втуне, они пылятся и тлеют в сундуках фольклористов: «Злой Кащей над златом чахнет!» Эти сокровища должны быть творчески претворены, переплавлены прозаиками и поэтами.

Поменьше надо стеснять писателя и поэта в выборе речевых изобразительных средств. Побольше доверия их знаниям, таланту, вкусу и разбору! И многие из числа виднейших наших языковедов именно так и смотрят на это.

Писательское знание словаря — это знание такое, которое придает языку писателя и мыслеемкость, и точность, и вещественность. Недаром же Пушкин, воплотивший эти качества в своем творчестве, называл прозу «языком мысли». Он хвалил Дельвига за то, что тот наконец-то достиг точности в языке: «Дельвиг, Дельвиг! Пиши ко мне и прозой и стихами; благословляю и поздравляю тебя: добился ты наконец до точности языка — единственной вещи, которой у тебя недоставало».

Эти непременные три качества литературного языка писатели всегда обретали в живом языке трудового народа и через непременную, усердную и непрерывную работу над словарем.

Да, да, над словарем, над лексиконом. До конца дней своих! «Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего?» — задавался вопросом еще Карамзин. И присоединялся к мнению Вольтера: «Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному».

Спросите врасплох любого из нас: что такое *исток, устье, стрежень* реки? Или: что такое *предел прочности, изверженные породы, водобойный колодец, бетон, шатун, поршень, маховое колесо, кривошип, коробка передач* и т. д. и т. д.,— ответим ли? Помилуйте, нельзя же быть ходячей энциклопедией!

Как не вспомнить нам и здесь горькие сетования Пушкина, который говаривал Владимиру Далю: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!»

Мы заговорили о том, что истинно писательское знание словаря есть непременно тончайшее знание синонимов.

Путь и дорога не одно и то же. «Высокий путь советского журналиста», нельзя заменить выражением «Высокая дорога советского журналиста».

Замечательный образчик тончайшего различения синонимов оставил нам Фонвизин в своем «Опыте российского сословника». Он разбирает слова *робкий и трусливый*: «Робкий бежит назад, трусливый нейдет вперед; робкий не защищается, трусливый не нападает. Нельзя надеяться ни на сопротивление робкого, ни на помощь трусливого».

А что, если бы этак вот знать весь язык, весь словарь? Как бы это сократило пресловутые «муки слова»!

— А зачем? — слышится возражение.— Что за беда, если вместо «робкий» я поставлю «трусливый»? Неужели ради таких тонкостей я должен освоить и удержать в памяти весь огромный словарь Даля? Когда ведь подсчитано, что даже у наиболее богатых по словарю классиков количество слов не превышает двадцати пяти тысяч.

Разве не приходилось вам слышать такого рода возражений? А мне приходилось.

И вспомнилось мне. В дельвиго-пушкинской «Литературной газете» вычитал я одно удивительное сообщение. Вот оно полностью:

«В одном весьма занимательном сочинении знаменитого Гёте сказано, что в Риме художники, делающие мозаические картины, употребляют 13 000 различных красок, из коих каждая имеет 50 оттенков, от самого темного до самого светлого,

что составляет 750 000 разных теней [1], весьма легко отличаемых художниками. Казалось бы, что, имея в своем распоряжении 750 000 красок, можно передавать во всей точности всякую живописную картину; но художники при таком удивительном избытке жалуются еще на недостаток некоторых необходимых теней».

Я склонен рассматривать эту заметку, напечатанную при самом основании «Литературной газеты», в январе 1830 года, как своего рода декларацию Пушкина. Вряд ли мы ошибемся, если примем, что он, который по определению Гоголя, более всех, далее всех раздвинул границы русского языка и более показал все его пространство,— он напечатал эту заметку как призыв к писателям, чтобы и они были так же ненасытны и требовательны, как те художники-мозаисты.

Это вовсе не парадокс, что краткость, сжатость слога рождается от изобилия; скупость в слове — от преизбытка словаря, которым обладает писатель.

— Дайте же и нам, писателям, право и возможность выбирать из 750 тысяч красок и оттенков! — как бы требовал этою заметкою Пушкин от Греча и Каченовского, от Сенковского и Булгарина, от всех тех, кто травил его за расширение литературного языка в сторону «просторечия», кто издевался над «простонародностью» его языка, запрещал Пушкину такие слова, как *дровни*, *тын*, *усы*, *визжать*, *вставай*, *рассветает*, *ого*, *пора,* обзывая их «низкими, бурлацкими»; кто, по выражению Белинского, считал Пушкина «исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия...»

Увы! Целый век и еще четверть столетия минули с тех пор, как великий основоположник русского литературного языка, борясь за его слитие с живым языком трудового народа, провозгласил: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». За это время были у нас и Крылов, и Лев Толстой, и Маяковский — подлинно исполины в этой борьбе за народность литературного русского языка, за вкнижение не только словаря трудовых масс, но и неразрывного с ним речестроя. А что же, а что же?! Одержало ли полную победу великое движение, зачинателем коего был Пушкин? Угомонились ли сенковские, каченовские и гречи наших дней? Нет и нет!

---

[1] По-видимому, опечатка в самой заметке; надо — 650 000.— *А. Ю.*

Напротив, вопреки тому непреложному факту истории, что в нашем Отечестве вот уже более пятидесяти лет, как рабочий класс и трудовое крестьянство взяли государственную власть в свои руки и строят коммунизм, вопреки тому факту, что творцы художественного слова ныне почти сплошь из рабочих и крестьян, им, писателям и поэтам, приходится претерпевать упорный и, я бы сказал, «хронический» натиск в такой великой области народной культуры, как русский литературный язык. Прислушайтесь к сетованиям писателей и поэтов: редкий из них не припомнит горьких для него случаев, когда он вынужден был под давлением «священно-непререкаемого» справочника выбросить то или иное слово, а иногда и выражение по причине якобы «нелитературности» оного. За последнее время у нас не было недостатка в грубых и всегда мнимоученых окриках за «просторечие», «провинциализмы», «диалектизмы» в языке того или иного писателя. Кто во что горазд!

Иной «учительствует», что нелитературным-де является сложный предлог *«вз»* в функции приставки: «я взлез на телегу», к примеру. И вот исправляют *«вз»* на *«в»*. «Я влез на телегу». Хотя каждому русскому человеку ясно, что первое — точнее. Тщетно возражает писатель:

— Да вот же у самого Тургенева: «взлез на телегу».

— Ну, мало ли что Тургенев!

И весьма возможно, что сей безнадежный спор будет прикончен справкою из так называемого «ушаковского» словаря, где слово «взлезть» опорочено, а на каком основании, одному аллаху ведомо,— пометкою «разговорное» (то есть, понимай, «нелитературное»). Как же нам быть-то теперь? Каким словом заменить этот глагол? «Влезть»? Но влезают во что-либо. Влезть на дерево нельзя.

Постоянны жалобы, что изгоняется из литературного языка множество наречий, междометий, так называемых модальных частиц за их якобы простонародность, нелитературность. Некоторые молодые писатели на семинарах прозы всерьез спрашивали меня: а можно ли писать «хоть» или всегда нужно «хотя»? Можно, говорю, и привожу из Пушкина: «Хоть и заглядывал я встарь в Академический словарь».

— А у нас,— говорят,— вычеркивают.

— Почему?

— Простонародное, нелитературное.

Почти непременно, уверенно и бестрепетно изгоняется отглагольное наречие «нету» за его якобы «простонародность», нелитературность. И напрасно вы будете ссылаться на Льва Никола-

евича: «Прочел и понял, что таланту у меня положительно *нету»*.

— Ну, мало ли что Толстой позволял себе в языке! Вы не Толстой.

Но и не только народный, или, как принято выражаться, «просторечный», словарь подвергается гонению; синтаксис — тем более. Под опалой «запретителей» находятся — и уже много лет! — хотя бы так называемые присоединительные связи русского языка, свойственные в особенности устной речи народа, но многократно воплощавшиеся и в творениях наших классиков, те самые присоединительные связи, которыми, по словам В. В. Виноградова, Пушкин поразил своих современников.

Кто из нас не помнит начала «Тараса Бульбы»: «А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой!» И вот попытайтесь отбросить это зачинательное «А», столь ничтожную, казалось бы, «микрочастицу» предложения,— разве не почувствуете вы, что этим разрушается все? Совсем другие взаимоотношения действующих лиц, другая психология и даже иные внешние обстоятельства этой встречи отца с сыном предстали бы перед взором читателя, если бы Гоголь начал просто: «Поворотись-ка, сын!» Грубовато. Не по-отечески. Мало этого: через эту ничтожную частицу речи вы сразу введены в самую сердцевину уже совершающегося события. Но и это еще не все: тою же частицею — назовем ее по-ученому «присоединительной связью» — Гоголь еще и показывает, что это старший обращается к младшему, а не наоборот.

Подобная смысловая «нагрузка» на этакую, казалось бы, «мелочишку» в языке писателя — явление далеко не единичное. Известно, что «присоединительные связи» — одно из поразительнейших стилистических средств — вторглись в художественную литературу, да и в публицистику тоже, из живой речи «простого народа», из того «просторечия, сначала презренного», из «простонародного нашего наречия, столь чистого, приятного», как говорит о нем Пушкин,— вторглись, конечно, вопреки «щекотливости мещанской журнальных чопорных судей», которые, жалуется он, обзывали «низкими, бурлацкими» даже слова: «усы, визжать, вставай, Мазепа, ого, пора».

А вот как сам Пушкин великолепно нагружал эту *просторечную по происхождению присоединительную связь «А»*. Вспомните ночь в Чудовом монастыре — монолог Самозванца:

Григорий *(пробуждается)*

Все тот же сон! Возможно ль? В третий раз!

Проклятый сон!.. А все перед лампадой
Старик сидит, да пишет...

Этим внезапным «А» читатель как бы мгновенно перекидывается из внутреннего, смятенного мира Самозванца во внешний, благостно-спокойный мир летописца. И ничем этого «А» здесь не заменишь.

Не буду таиться: вот та́к, в таком направлении и преподавал бы я так называемую «стилистику». И тогда, мне кажется, и стало бы понятным и оправданным суждение Виссариона Белинского, что стилистика должна быть завершением, *венцом грамматики.* А еще непререкаемая истина, хотя и не для всех привычная, дана в том суждении мыслителей языка, что не язык народа строится по учебникам грамматики, а грамматика извлекается из языка.

И — стилистика тоже! *Она — в словаре. Она — в речестрое народном.* Истинная стилистика.

Хотите создавать подлинную науку,— назовем ее привычно «стилистика»,— поклонитесь земным поклоном словарю *народа.*

Нужно откровенно сказать, с бедой вкусового, мнимонаучного запретительства еще можно было бы совладать, если бы рядовые запретители не находили себе опору в дурной, заведомо обветшалой традиции некоторых наших лексикографов, которую они без должного пересмотра восприняли от *старых, дореволюционных времен.*

У нас вошло в дурной лексикографический обычай пятнать словарь русского народа неодобрительными и даже прямо запретительными пометами: «просторечие», «областное», «разговорное», «устарелое», а еще, когда речь идет о каких-либо орудиях труда, то в большом ходу помета: «спец.», то есть специальное, «ножовка» (пила) — «спец.»; «коловорот» — тоже «спец.». Скоро доживем до того, что и «гвоздь», и «лопата», и «топор» будут «спец.»!

Посмотрим же, от каких слов «предостерегают» советских граждан. Это не цитаты, я считаю это горсточкой улик.

«Авось» — сложное наречие, издревле общенародное. Надо ли разъяснять его изумительную выразительность и мыслеемкость? Вероятно, ни один из русских классиков не отказывал этому наречию в литературности. Не чурались они этого слова и в поэзии, исполненной лирики: «*Авось* на память по неволе придет вам тот, кто вас певал» (Пушкин). У Гончарова: (Штольц) «неспособен был... броситься на стену *на авось*». Правда, в академическом словаре 1789 года это слово объявлено было «простонародным». И вот «хвост» этого отвержения

от литературных прав тянется и к нашей лексикографии: в новом академическом словаре 1957 года «авось» снабжено пометою «разговорное», то есть опять-таки не вполне литературное. А почему, спрашивается?

Надо быть решительно тугим на ухо в русском языке, чтобы «предостерегать» русского человека против таких слов, как «позариться» (и пример-то ведь дан какой чудесный: позариться на чужие деньги»); «пожива»; «подмащивать» (несовершенный вид глагола «подмостить»); «подмоклый», «понабрать» (понабрал повсюду работы, еле справляется); «понавидаться» (понавидался разных диковин); или вдруг объявить, неведомо почему, сложный предлог «по-за» «областным» (?!). Позволю себе спросить, какая же из областей нашего Отечества является счастливым обладателем этого сдвоенного предлога? Курская, Вологодская, Московская? А пример-то дан из Гоголя: «Здесь Чичиков... скорее за шапку да *по-за* спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо».

Наречие *«походя»* тоже объявлено лишь «разговорным», а пример приведен из трудов Ленина: «Мы решали вопросы буржуазно-демократической революции *походя*, мимоходом...»

«Прясло», сказано: «областное». А примеров — два: Кольцов и Александр Блок. «Вот уж осень на двор через *прясло* глядит» и «Высоко *из прясла* торчит конец жерди».

«Пособить» снабжено также запретительной пометой. Примеры же из Крылова и Гоголя: «Просит горю *пособить*». И «Плачем горю не *пособишь*, нужно дело делать». Эта же участь постигла слова *беремя, трухляветь, хлебать.* Любопытно, что пример к слову «беремя» в одном из академических словарей взят из Салтыкова-Щедрина: «Истопник... явился в комнату, неся... беремя дров». В «Словаре Академии Российской» 1789 года, о котором наши лексикографы пишут, что, дескать, этот словарь исходил из классовых, дворянских позиций в языке, а потому многие народные слова изгонял из литературы,— в этом дворянском словаре глагол «хлебать» никакой пометой не опорочен: «*Хлебаю, хлебнул.* Ем ложкою какую похлебку, или другую какую жидкую яству». А тут вдруг — «простореч.», то есть, повторяю, «предостережение».

«*Прядать...* устарелое и областное» (?). А примеры — Тютчев и Горький: «Тебя он *прядать* научил, играть, скакать на воле...», «Уши у него... постоянно *прядали*, как у пугливой лошади».

«Непогодь» — областное (?!). «Только в *непогодь* воешь жалобу на безвременье» (А. Кольцов).

«*Зимник*. Дорога, которой пользуются только зимой, по которой нельзя ездить летом. Областное(?!) «Вот он едет *зимником* по реке... с возом на мельницу» (Салтыков-Щедрин). «*Пробурить*» — «спец». А к слову «*почин*» две неодобрительные пометы: «областное» и «просторечное». Примеры же — Чехов и Ленин («Великий *почин*»).

Павел Петрович Бажов дал такой отзыв об этом словаре: «Обычный недуг этого словаря: в нем **никогда** не найдешь того, что **особенно** нужно». (Подчеркнуто мною.— *А. Ю.*) Известно, что «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный Владимиром Далем в итоге сорокасемилетнего титанического труда, содержал в себе свыше двухсот тысяч слов, да ученый редактор четвертого издания профессор Бодуэн де Куртенэ прибавил еще двадцать тысяч слов. В четырехтомнике же Ушакова оставлено только... восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят девять слов! Справедливость требует уточнения: особенности морфологии и синтаксиса Маяковского также были исключены из этого «толкового, литературного» словаря, за «неологизмы», которые, дескать, не утверждены еще в языке.

В древней Руси было уголовное наказание: «языка урезати». Но, право же, советские писатели и поэты не заслужили этого!

Барски-пренебрежительное отношение к труду и к трудовому народу, укреплявшееся не только одними гимназиями, а и всей системой классового общества, сказалось в презрительном отрицании законнейшего права трудовых масс участвовать своей живой речью, всем своим жизненным укладом в созидании великого общенародного литературного языка.

Было бы отчего прийти в отчаяние, видя, как, благодаря нездоровому течению запретительства, все ширится и ширится разрыв между еще не успевшим вкнижиться живым языком народа и языком литературным! Ведь этак со временем огромнейшие, ныне еще живые, огнепышущие «пласты» языка, изгоняемые из жизни, очерствеют, залягут под нафталин в сундуках фольклористов, а потом пойди оживи их! Какое чудовищное расточительство сил и достояния народа!

Писателей и поэтов великой эпохи теснят на языковой «пятачок» словарники и «узаконители» ветхого, каченовско-гречевского закваса. Но мы можем и должны сказать: больше доверия свободному, самостоятельному языковому мышлению самого учителя, самого редактора! Сколь многие из них обладают уже и своими трудами по русскому языку и учеными званиями. Они не обязаны следовать повелительному гнету научно не обоснованных справочников и целого ряда брошюр по «стилисти-

ке». Необходимо дать и учителю русского языка, и редактору свободу в языковом мышлении, и тогда редко кто из них пойдет в ряды вкусовых запретителей, потому что заветом таких мыслителей языка, как Буслаев, Шахматов, Бодуэн де Куртенэ, Чернышев,— и учителям и писателям — было: глубинная народность литературного языка, смелое воссоединение устноречевой и книжной стихии. И в этих словах — подлинно научное понимание вопроса.

ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?

На Севере живая речь народа еще сохранила одно замечательное речение:

— А он и слова не доискался! — Какое горе испытываешь, когда пришлют тебе «сигнальный» экземпляр твоей книги, и вдруг видишь, что и здесь-то ты «не доискался слова», да и вот здесь тоже! А уж исправлять поздно! Того тошнее газетчику: ему-то еще чаще, чем «романисту», приходится переживать эту запоздалую скорбь по ненайденному слову: времени-то у него всегда в обрез. А работа у нас одна: через слово овладеть жизнью, строить жизнь.

Писатель — это словарь! Сейчас же начну оговариваться. Словарь народа — это ведь и мышление народа; это его история, его быт и труд. Ибо мысль неотрывна от слова; слово человеческое всё в мире объясняет, объемлет, отражает, всему — и вещественному и отвлеченному — соответствует. Слово — это великий зодчий всей культуры, всей цивилизации человечества. Труд и речь!

Потенциально каждое слово бессмертно. То есть, точнее говоря, оно может на целые столетия пережить свое материальное соответствие. Даже самое обветшалое слово, объявленное заведомым архаизмом, может вдруг воскреснуть, повинуясь законам языка, употреблению народному, отвечая требованию момента и эпохи. Зачастую — обернувшись другим значением, облеченное в другую семантику. Явление общеизвестное. Шлем витязя вымер. Зато появился шлем танкиста и водолаза. Давно уже не воюют мечом. Однако Нюрнбергский процесс обрушил «меч правосудия» на головы преступников против человечества. И на одном из памятников Европы, освобожденной от фашизма, советский воин, отечески держащий на одной руке

спасенное им дитя, другой рукой грозно опирается на исполинский меч. Не надо торопиться с погребением слов. Не существует «глухонемых пластов» языка. Не последнее место принадлежит здесь воле и чутью художника слова. Ктó до войны помнил слово «упредить»? А теперь выражение «упредить врага» понятно каждому. И это слово очень точное. Это не совсем «опередить». Это и — предвосхитить намерения врага. Здесь — быстрота и боевой, наступательный дух.

Подобных примеров каждый припомнит сотни, если не тысячи. Остановлюсь еще на одном архаизме, он особенно любопытен: *вратарь*. Кто из болельщиков футбола вспоминает, что это очень и очень древний славянизм! «Врата» никто не говорит. А вот «вратарь», да еще с вымирающим суффиксом «арь» (ключарь, звонарь, букварь, пахарь, лекарь), стало современнейшим словом.

Однако по нашей предыдущей статье видно, что ни с чем не сравнимая беда и боль родного русского языка связана с засорением словаря терминами иностранного происхождения.

Ошибочно думать, что лишь помещица Курдюкова да мещанка Бальзаминова подобострастно уснащали без нужды нахватанной иностранщиной язык нашего народа. Не только от невежества и от претензий стоять над трудовым народом, кичиться и чваниться перед ним произошло это бедствие, поразившее сперва дворянские круги и проявившееся у одного в галломании, у другого в англомании, а у иного и в германомании. Было время, например, в пору увлечения Гегелем, когда среди достойнейших представителей передовой общественной мысли сильно распространилось злое поветрие неистового «чужесловия». Об этой поре вспоминает Герцен в «Былом и думах»:

«Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских».

И ныне есть, с одной стороны, просто последыши Бальзаминовой и Курдюковой, а есть и высокообразованные люди разных призваний, но привыкшие, однако, к «птичьему языку», а потому и со спокойной душой загромождающие русский язык тысячами и тысячами «салютайзеров», «квенчингов» и «ингибиторов», даже и в том случае, когда данная область науки и произ-

водства главнейшим образом разработана трудами русских ученых.

Обычно «папенька Бальзаминов» возражает: «А что же прикажете делать, если на русском языке равнозначных слов нет?» Истинный и прямой ответ на это прост: во-первых, они есть, а во-вторых, в целом ряде областей науки и производства, и уж, конечно, в быту, они с легкостью могут быть создаваемы, была бы только охота. А если ее нет, обратитесь к языку трудовых масс, позаимствуйте опыт словотворчества у людей вещественного, производительного труда: они извека — словотворцы!

Но иногда это же самое — так что же нам делать? — срывается с уст и у людей, которые искренне хотели бы помочь воплощению завета Ленина об очистке русского языка от излишней иностранщины.

Вспоминаю наши дружеские беседы с одним выдающимся физиком. В языке мы были с ним единомышленники. И, конечно, без особых поисков и страданий *«диссипацию энергии»* перевели как *«рассеяние энергии», «интерференцию волн»* — как *«наложение волн», «дифракцию»* — как *«огибание»* и т. д. Словом, переубеждать друг друга нам не приходилось. Но вот что сказал мне мой физик с грустью: «Я-то убежден и вижу... да и не только я, а и многие из моих товарищей, что засорение языка науки, техники, да и языка житейского, бытового иностранщиной поистине превращается в какую-то вакханалию... Как будто если он скажет «конфитюр», то варенье от этого станет слаще!..— Он засмеялся.— Примеров я мог бы сотни привести этих ненужностей,— продолжал он.— Но вот один забавный случай, забавный и поучительный. «Сварка под флюсом» то и дело встречается в нашей повседневной печати. Флюс — слово немецкое. И, конечно, не этим оно мне неприятно. А тем, что сколько я его ни слышу, каждый раз мне представляется... распухшая от флюса щека, повязанная платком. А ведь чтобы замену ему найти, русскую, совсем и выдумывать ничего не надо, а просто надо вернуться к давно уже созданному слову *плавень*. Это наши рабочие-доменщики его создали. И какое же чудесное слово! Сколько в нем этой самой нашей вещественности: вещества, способствующие сварке, плавке,— и вот вам плавень!.. А все эти «флюсы», «салютайзеры», «квенчинги» — они же, конечно, затрудняют и самое работу и рост рабочего».

В ответ я тоже вспомнил один замечательный пример. Но уже из анатомии. Есть у каждого из нас две мышцы на шее: одна — справа, другая — слева. Латинское их название, по

точкам прикрепления, довольно неуклюже: *мускулюс стерноклейдомастоидеус*. Ну, а когда сделали русский буквальный перевод — кальку, то получилось еще хуже: *грудинно-ключично-сосцовая мышца*. Но каково же было мое восхищение, когда у одного старинного русского анатома нашел я совсем иное название этой мышцы — легкое, изящное и вдобавок прямо означающее, что́ именно эта мышца делает: *кивательная мышца*. Ибо она действительно осуществляет кивок, наклон головы.

Пример, достойный подражания! А у нас непременно силятся дать буквальную кальку чужестранного термина. Это ничем не оправдано. В любом языке возникшие в нем термины никогда не обнимают всего существа явления, предмета, орудия. Да это и невозможно. Сколько угодно можно привести примеров, когда иностранное название какого-либо устройства, прибора возникло по чисто случайным обстоятельствам, как, например, слово «танк» — бак. Более того, словарь иностранных слов, принятых в нашем обиходе, изобилует названиями просто нелепыми, дурного сложения, как, например, антибиотики. «Биос» — жизнь, а «анти» — против. И если мы будем буквально переводить его, то это будет означать «средство... против жизни»! Словарь труда, производства создавался многообразными способами. Например, путем уподобления, переноса, метафоры: *плечо* рычага, *пальцы* бороны, *лопатка, ключица, рукав* реки.

Но есть еще один извечный способ сотворения новых слов, глубоко народный, неисчерпаемый и уж не такой-то мудреный.

Вот об этом и поговорим.

Возьмем для раздумья хотя бы следующие ряды промышленно-производственных слов:

резец, зубец, шелк-сырец; маховик, грузовик, паровик; осадок, отросток, огарок; движок, лоток, белок; резак, тесак, черпак; подпятник, подшипник, наушник; сверло, весло, седло; светило, мерило, шило, жниво, топливо, огниво; истребитель, выключатель, сшиватель; паяльник, холодильник, будильник; кипение, усвоение, зажигание; кладка, выработка, поливка (суффикс *к* с окончанием женского рода *-а*); образование на *-тие, -ние*: выгнутие, прорытие, выпрямление; часто́ты, широ́ты (с окончанием *ы*, множественного числа); клоун, шатун, бегун; метчик, датчик, резчик; тягач.

На этом остановимся.

Каждый заметит, что во всех этих словах мы видели так называемый суффикс. Это суффикс особый: *суффикс орудийности*. С помощью таковых народ в процессе труда создал бес-

численное множество понятий, обозначающих любые орудия и устройства производства, а также и материалы. Здесь позволю себе, для пользы дела, напомнить об этом понятии: *суффикс*. Я ведь не для языковедов это пишу, а для людей любой иной специальности, прежде всего для молодежи, только что вступающей в науку и в производство. Грамматические понятия, если только не обращаться с ними постоянно, со временем не то что позабываются, а становятся расплывчатыми. Вот почему я и думаю, что обиды не будет.

Суффиксом называют ту часть слова, которая стоит после корня. А что такое *корень*? А это общая, далее уже неразложимая часть родственных слов. Так, например, в родственных словах: *вод*-а, *вод*-ный, *вод*-янистый и т. д.— корнем будет *вод*. А *н* в слове *водный* будет *суффиксом*. Иногда в слове бывает и несколько суффиксов, как, например, в слове вод-*ян*-*ист*-ый». *Приставкой* же (или префиксом) именуют ту часть слова, которая стоит *перед* корнем: *на-воднение*.

Для своих писательских надобностей я давно уже называю суффикс **словотвором.** Так мне явственнее, зримее, что ли, становится его поистине изумительная работа в языке: т в о р и т ь н о в ы е с л о в а и ф о р м ы с л о в.

С помощью *суффиксов орудийности* можно легко и вполне в духе языка создавать новые понятия для какой угодно области производства, для любой отрасли науки.

А то ведь у нас народное искусство — создавать новые производственные русские термины — уже настолько заброшено, что кажется, что и нету других способов, так только через производство сложных слов: *лед- о-ход, пар-о-воз, бур-е-лом, звезд-о-лет* и т. д. То есть берется обычно в первую часть сложного слова корень существительного, а во вторую — корень глагола, и соединяются меж собою соединительным *о* или *е*. Что ж, и это неплохой и плодоносный способ, но ведь он отнюдь же не единственный и не главный! А вот овладеть нехитрым, но забытым уменьем оснащать корень слова суффиксом орудийности — это совершенно необходимо людям самых разных призваний!

Нужно помнить великий закон всего живого: упражнение усиливает, растит и укрепляет, а неупражнение расслабляет, обессиливает, губит. Не упражняемая работой мышца становится дряблой.

То же и с языком.

Восторженно-неистовое пожирание всевозможного чужесловия таит, помимо прочего, еще и ту опасность, что запесочива-

ются, глохнут год от году и самые родники русского словообразования. А что о них можно будет прочесть в больших руководствах грамматики, от этого радости немного.

Когда я думаю об этом, я не могу не вспомнить высокий исторический подвиг чешского народа, который под многовековым напором воинствующего германизма, под железной пятой габсбургской монархии полностью отстоял *чешскость* чешского языка, развил в полной мере все его силы и возможности. Великие представители чешской интеллигенции, его «будители» шли во главе этого движения. Но и рядовой чешский учитель обессмертил себя в этом историческом подвиге. И вот поныне чист чешский язык от иностранных заимствований. Изредка встречаются, конечно, эти ненужности, как, например, «офензива» — наступление, «конверзаце» — разговор, «шпацирка» — прогулка, но в целом чешский язык науки и промышленности великолепно самобытен. Вот всего лишь горсточка примеров, а их ведь тысячи и тысячи:

шлюз — здимадло; шоссе — подвозок; парашют — падак; перпендикулярно — колмо; абсцисса — усечка; автострада — дальнице; элемент — првек; экватор — ровник; грамматика — млувнице; хрестоматия — читанка; аэропорт — летиште; бортпроводница — ле́тушка; театр — дивадло; корреспондент — справодай; проездной билет — йизденка; шезлонг — легатко; парикмахер — голич и т. д. и т. д. Само собой разумеется, что все эти тысячи слов произведены в духе языка, по его законам и заведомо понятны любому чеху, так как крепко-накрепко связаны с предметностью, с вещественностью производства, науки, быта.

И что же? Разве посмеет кто-либо сказать, что чешская наука и промышленность по причине этой глубокой чешскости своего словаря хоть в чем-либо отстали от науки Запада или ослабили свои международные связи?

Так почему бы нам и не поучиться доброму у братьев-чехов?

На это я многократно слышал от работников науки и промышленности такой примерно ответ:

— Но как его создавать, русский термин? По каким правилам? А вдруг высмеют: «мокроступы», скажут, сочиняете вместо «калош»!

Тут надо сказать прямо: мы знаем, что великий о д и н о ч к а Ломоносов обогатил отечественную науку множеством отличных русских слов, которые прекрасно работают и поныне. О д и н о ч к а Карамзин не отстал в этом от него. Такие великаны нашей науки, как Павлов, Крылов, Жуковский, не боя-

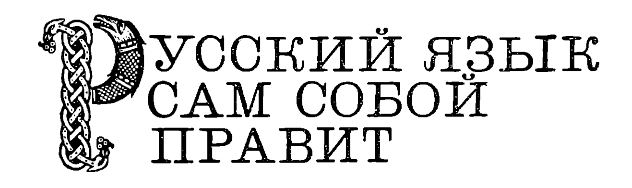
лись, что их высмеют, создавали русские понятия науки, а вот целое огромное учреждение — Институт русского языка Академии наук СССР,— он как будто не подарил своему народу ни одного русского термина! Научил ли институт этот деятелей иных отраслей знания, как по законам русского словообразования создавать эти термины? А почему бы не выпустить краткую книжечку с правилами надлежащего словообразования?

Что же касается избитых и пошлых выходок «испытанных остряков» насчет калош и «мокроступов», то шуточки этих снобов — они столетней давности. Перешагнем через них!

Давно уже пришло время открыто признать вредным для культуры народа противоестественный обычай: чуть что — сейчас же хватать иностранное обозначение для любого отечественного изобретения, открытия, установки. И это в те времена, когда язык, которым «разговаривал Ленин», выходит на положение всемирного, когда в старейших университетах Англии изучение русского языка становится обязательным!

Да и, наконец, пора продумать о том, не наносит ли это ущерб достоинству русского народа, его духовному здоровью и самосознанию! Думать об этом надо, ибо на нас лежит ответственность и перед будущими поколениями за великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..

II



НЕЛЬЗЯ? НЕТ, МОЖНО!

Неоднократно и скорбно задумывался я над рассказом Надежды Константиновны Крупской о том, как «грамматоеды и корректоры» (выражение Белинского!) пытались «очищать» язык произведений Ленина от народных, просторечных слов и оборотов. Вот ее воспоминание об этом:

«Он мог часами просиживать над разными словарями, в том числе над словарем Даля, о переиздании которого он особенно заботился последнее время. Язык Ильича богат, он употребляет много народных оборотов, выражений. Очень часто случается, что корректоры, не заметив, что это цитата из Ленина, около того или иного оборота или выражения ставят вопросительные или восклицательные знаки, а то просто выправляют по-своему».

Откуда же оно, сие злое наваждение «грамматоедства», чистоплюйства и лженаучных гонений на так называемое «просторечие»? Пытаешься проследить в истории литературного русского языка зловредные истоки этого «прополочного», так сказать, направления и... ужасаешься: да ведь никак два столетия этой пагубе!

Сумароков доносил на Ломоносова, что оный-де засорил благородный литературный язык дворянского общества словами «худаго», простонародного языка и что выражается он «холмогорским наречием». Напомню образчик сумароковских нападок на словарь Ломоносова: «*О коль согласно там брящает... Брящает* и *бренчит* есть слово самое подлое, но еще *бренчит* лутче, что оно употребляется, а *брящает* не употребляется нико-

гда, и есть слово новомышленное и подло как выговором, так и наименованием...»

Надо полагать, слово «подлый» Сумароков применил здесь не столько в нравственном значении, сколь в социальном, по тогдашнему пониманию этого слова: «подлое сословие» — крепостное, податное, или, иначе говоря, чернь.

Общеизвестно (а потому и нет надобности приводить здесь выдержки), что Каченовский и его ученики всячески поносили язык Пушкина как грубый, просторечный, «мужланский».

Барон Брамбеус, гонитель славянизмов, с пеной у рта требовал навсегда «расторгнуть дружбу русского слова со славянским» и предсказывал Пушкину, что он тоже скоро устареет, поскольку, дескать, не внял его совету. Не будем здесь останавливаться на этом. Известно, что Александр Сергеевич только посмеялся совету ученого мракобеса. А «устарел» ли Пушкин — об этом дано судить нам, советским его наследникам!

Яростно травили Пушкина и тогдашние «грамматоеды», сторонники Греча с его грамматикой. Тут не мешает напомнить, какой отпор его, Греча, домогательствам учить русский народ русскому языку дал Добролюбов:

«Мы знаем теперь, что если он (Греч) когда-нибудь и писал по-русски, так это было очень давно, еще прежде, чем он стал писать по правилам грамматики Греча. После же издания грамматики он дошел до того, что отверг вовсе русский язык к явной выгоде собственной грамматики. Он произнес всенародно в «Северной пчеле»: «Пусть целый народ единогласно употребляет известное слово не согласно с правилами моей грамматики, я все равно скажу, что оно употребляется неправильно».

Такую отповедь потугам Греча учить русский народ и его писателей русскому языку дал Добролюбов. Но было бы неверно думать, что этим лженаучным претензиям никто не давал отпора среди присяжных, так сказать, языковедов нашего века. Имя Василия Ильича Чернышева и доселе чтится и учителями русского языка, и учеными-грамматистами. И вот в 1911 году он с негодованием отвергает подобные претензии в известной своей книге «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики». (Не лишним будет заметить, что Академия наук удостоила это исследование премии имени М. И. Михельсона.) Два его суждения я, право, отпечатал бы крупными буквами да и вывесил бы кое в каких редакциях, на радиовещании и непременно — в Институте русского языка! Далее объяснится, почему именно этому учреждению я оказал бы такое печальное преимущество.

Итак, вот что говорит В. И. Чернышев.

Первое:

«Нередко педантическая стилистика имеет притязание предписывать правила языку, вместо того чтобы изучать его законы. Этим нередко грешили у нас иностранцы, пишущие русские грамматики, как, например, Греч».

Второе:

«В создании литературного языка талантливые писатели идут впереди; грамматика должна идти вслед за ними».

Не думайте, что одинок был В. И. Чернышев среди ученых-языковедов в этих своих благородных и истинных призывах: он, в сущности, убежденно присоединялся к двум исполинам русского языкознания, чьи имена зачастую сопровождаются определениями: «гениальный» и даже — «великий». Я говорю о Федоре Ивановиче Буслаеве и об Алексее Александровиче Шахматове. Мы все еще плохо знаем этих наших, писательских, защитников против Баронов Брамбеусов и Гречей наших дней.

«Великим учителем» назвал гениальный Шахматов Буслаева, выступая на съезде преподавателей русского языка, и посетовал, что в преподавании русского языка в школе все еще не выполнены буслаевские заветы.

В предмете нашей беседы для нас особенно существенное и радостное в их воззрениях, что они убежденно отстаивали языковую свободу русских писателей и поэтов; признавали их первенство в установлении того, что «можно» и чего «нельзя», и взяли под крепкую защиту против педелей языка областные слова и речения, так называемые провинциализмы, и просторечие. (Мимоходом замечу, что ныне «педели» языка все же чрезвычайно размножились; об этом я и хочу далее говорить, однако пусть лица, которые заслуживают этого забытого названия, не обижаются: в старинных школах назывались так помощники инспекторов, со специальной задачей — следить за нравственностью учащихся.)

В самом сжатом виде, но их подлинными словами, воззрения Буслаева и Шахматова можно представить следующим образом. Буслаев: в просторечии «сохранилось древнейших и существенных свойств русского языка больше, нежели в современной образованной речи». В книге же, написанной прямо для учителей русского языка — «О преподавании отечественного языка»,— переизданной Учпедгизом (великое спасибо ему за это!), Буслаев сказал о «провинциализмах» замечательные слова: «Отвращение от провинциализмов есть старинный предрассудок, который особенно неуместен у нас, ибо «народ российский», говорит

Ломоносов, «по великому пространству обитающий, не взирая на дальнее расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах».

Истинность этих слов одного из основоположников русского языкознания — слов, звучащих сто лет тому назад, в «гречевские» и «каченовские» времена, прямой «крамолой»,— ныне вряд ли потребует особой подпоры доказательствами.

Некуда деться нашим противникам от того великого исторического явления, что океан русского языка становится все более и более единым: «от края и до края»!

Ведь всего три-четыре часа полета отделяют Москву от берегов Белого моря или Тихого океана! А живая речь по «волнам эфира» покрывает это расстояние за какую-нибудь долю секунды!

«Торосы» и «сохатый» и для московского народа отнюдь не «провинциализмы», ибо не существует никаких «окраин» у нас, в Советском Союзе!

Великий мыслитель языка Владимир Даль заповедал нам относительно областных слов и речений:

«Наши местные говоры — законные дети русского языка и образованы правильнее, вернее и краше, чем наш письменный жаргон».

А о правах живого народного языка на «литературность» суждение Владимира Ивановича намного опередило свой век — и кто же из советских писателей русских не разделяет этого! «Живой народный язык... должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной, разумной речи взамен нынешнего языка нашего, каженика».

Как видно, о преобладающем литературном языке своего времени Даль был невысокого мнения, поскольку слово «каженик» на древнерусском языке означало: кастрат, евнух.

Однако продлим слово Буслаеву:

«Наука,— говорит он,— никак не может предписать, сколько и что может и должно войти в язык письменный из областных наречий: русское чутье всякого оценит по достоинству каждый провинциализм, а гениальный писатель может внести в письменный язык со всех сторон нашего отечества столько выражений, что мы и представить не можем».

Пророческие слова!

Недаром Горький говорил о том, что на смену, так сказать, орловско-тульскому периоду русской художественной литературы пришел областной, окраинный, если определять по месту рождения писателей и поэтов.

Если говорить лишь о творцах художественной прозы наших ближайших дней, то достаточно назвать имена Шолохова, Леонова, Всеволода Иванова, Сейфуллиной, Зазубрина, Бажова, Шергина, Писахова, Ивана Вольнова, Закруткина, Пермитина. И все они на протяжении многих лет подвергались всяческому поношению, как писатели с языком, дескать, «областным», с преизбытком «провинциализмов», языком, который, мол, нарушает «литературные нормы», провозглашенные кандидатами и докторами филологических наук из Института русского языка. Заведомо знаю, что перечень мастеров прозы, обвиняемых «педелями» языка в грехах «просторечия» и «областничества», весьма не полон. А о поэтах и говорить нечего!

Но выслушаем, вслед за Буслаевым и Далем, и академика Шахматова. Он утверждал, и неоднократно, что есть только «два авторитета, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка,— это, во-первых, авторитет самого народа с его безыскусственным словоупотреблением, во-вторых, авторитет писателей...»

Думаю, стоит напомнить, по какому именно поводу последовало столь решительное высказывание в защиту народности языка и в защиту писателей со стороны такого светила языкознания, каким признается и поныне академик Шахматов.

Когда после академика Грота пост главного редактора академического «Словаря русского языка» принял Шахматов, он обнародовал своего рода «декларацию», что Академия наук, ее Отделение языка и словесности решили отказаться от всяких помет: «правильное» или «неправильное», «просторечное» или «литературное» и т. д. и т. п.

Против такого решения резко выступил некто И. Х. Пахман, преподаватель русского языка в одной из школ Могилевской губернии, автор исследования о русском глаголе. Академия наук уважила его протест и в «Сборнике Отделения русского языка и словесности» 1901 года, в томе 67, поместила так называемую «Записку» Пахмана: «План нового академического словаря с точки зрения иноязычного». Шахматов отвечал ему в том же Сборнике.

В чем же автор «Записки» упрекал языковое Отделение Академии наук и чего требовал? Прежде всего он возмущался тем, что новая редакция Словаря поставила себе задачу «добыть... все факты языка и их зарегистрировать, не подвергнув их никакой оценке и ни малейшей шлифовке».

Далее И. Х. Пахман сокрушался, что это «может вводить в заблуждение читателей нерусской национальности», так как,

дескать, они «многие исковерканные слова, внесенные в Словарь без исправления и оговорки, будут принимать за литературные выражения и заимствовать для уснащения своей речи».

Затем автор «Записки» делал строгий выговор классикам русской художественной литературы — Тургеневу, Островскому, Салтыкову-Щедрину, А. Толстому и Глебу Успенскому: «Неправильные антиграмматические формы встречаются ведь и у наших классиков, у тонозадавателей языка! Неужели все их вольные и невольные погрешности так-таки перейдут в Словарь без намека даже на их неправильное образование?»

За что же, за какие грехи подверглись наши «тонозадаватели языка» (ведь экое выражение придумал!) столь суровому осуждению?

Приведем несколько взятых И. Х. Пахманом примеров:

«У Тургенева,— пишет он,— «Пегас *зачуевал* добычу за сто сажен», вм. зачуявал».

«У Островского: *Никому* уважать не намерен», вм. никого».

«У Салтыкова: «...Досуг ли ему с инструментом *возжаться*», вм. *возиться*». Встречается и у Глеба Успенского: «возжается или вожжается лошадь возжами и вожжами».

Явно не зная, что глагол «разжизаться» означал «разжигаться» и ничего общего не имеет с жидкостью, он уличает и исправляет одного из классиков: «А батюшка... хмурил брови и начал даже *разжизаться,* вм. *разжижаться,* от слова жидкий». Точно так же, не понимая, что у А. К. Толстого выражение «метется сердце» происходит от местись: «мятутся народы», «мятежник», автор «Записки» поучает:

«У Ал. Толстого: «*Метется* сердце непокорно». Иоанн Дамаскин, вм. *мечется*».

Короче говоря, перед нами — типичный последователь Греча в его посягательствах на русский язык!

В заключение И. Х. Пахман требует, чтобы Академия наук приняла за обычай в новом Словаре «факты языка подвергать строгой критике и в необходимых случаях исправлять их и даже отвергать, не щадя никаких авторитетов».

На этот выпад и последовала знаменитая отповедь Шахматова, из которой часть мы уже приводили выше.

О, если бы наши сегодняшние слагатели словарей приняли высказанные Шахматовым указания, каковы должны быть задачи русского академического словаря: «зарегистрировать по возможности все слова русского языка с указанием их значений и степени распространенности». И — только!

В суровом ответе на «Записку» мы читаем:

«Академия,— говорит он (Пахман),— не должна отмалчиваться от решения грамматических вопросов, и в случае запутанности какого-нибудь из них «она может собственной властью пресечь его». Господин Пахман упускает из виду, что главный и единственный авторитет в языке — это обычай, употребление».

Далее Шахматов присоединяет, как мы видим, к «употреблению» и второй высший авторитет в языке — *писателей*. Оно и понятно, ибо истинный писатель — он прежде всего опирает свой речевой словесный отбор на «факты» народного языка и свою творческую волю согласует с наличной, так сказать, реальностью языка. А она — бесконечна!

Вот почему веет мертвизной от всех попыток «словотворчества», исходящего из «собственной фантазии», когда нет глубинных знаний народного языка! Беспредельные возможности истинного языкового новаторства таятся в самих недрах народного словаря и речестроя. «Внутриатомная энергия» слова и предложения!

В своем ответе Алексей Александрович Шахматов даже слово «правильнее» берет в кавычки, когда приводит один из примеров, над которым и до сих пор мудруют непрошеные правщики русской речи: «...Неужели можно решить,— пишет он,— как, например, «правильнее» говорить: «приговоры» или «приговора»?» Так судит великан русского языкознания, академик, один из основоположников русской грамматики и лексикографии, а вот на наших глазах некий маститый литератор,— правда, не без влияния возникшей в то время дискуссии о языке,— возымел вдруг острое желание учительствовать русскому народу в его родной речи и начал с того, что всенародно объявил формы «договора», «инструктора» языковыми «сорняками», предложил «заклеймить их всенародным позором».

Бедный академик Шахматов! Ведь он, как сказано, считал вполне равноправными «приговора» и «приговоры», «договора» и «договоры» и целый ряд подобных двояких форм. Он разъяснял это Пахману. Мало этого! Как подобает истинному ученому, он, академик языкознания, отказывает в праве опекать народную речь и язык писателей даже столь высокому учреждению, как Академия наук, виднейшим деятелем которой он является!

А о задачах ведо́мого им Словаря пишет следующее:

«Словарь должен содержать не плоды сочинительства и «научных» соображений о том, как следует говорить, а такой надежный материал, из которого было бы видно, как говорит

народ в различных областях России, как выражаются современные писатели, в каком значении употреблялись те или другие слова писателями прежнего времени и т. д.».

Как видите, ни тени языкового администраторства, учительства над народом и его писателями и поэтами!

Оторвешь листок численника — и там, чуть не на каждом листочке: «Нельзя говорить.— Надо говорить!»

Вот уже вторым изданием (рецидив повышает ответственность!) Институт русского языка выпускает для массового читателя книжечку «Правильность русской речи» подготовленную группой научных сотрудников во главе с Л. И. Скворцовым. Это длинный список слов, расположенных в алфавитном порядке, с пометою, можно или нельзя ими пользоваться.

Диву даешься: как это можно предписывать народу и его писателям такие правила и запреты, какие там значатся!

Начнем хотя бы со слова «ложить». «Ложить. Употребление этого слова вместо глагола класть является грубым нарушением норм литературного языка...»

Осуждаются за слово «ложить»: Е. Исаев, А. Вознесенский, Л. Решетников. Однако опасливо обойден Маяковский: «шары *ложа* в биллиардные гнезда» и «любовь на литавры *ложит* грубый». «Толковый словарь» Даля под редакцией Бодуэн де Куртенэ без всяких осуждений дает слово и «ложить», и даже «заложка» наряду с «закладкой». Кстати, и на чешском: zàložka (за́ложка).

Тянут к ответу составители и поэта В. Бокова за слово «пошили». Приведена строфа: «Слова мои, а ну шагнем потверже да пошире. Чтобы бродить в краю родном, нам сапоги *пошили*».

Сапоги. *Много* сапог. На всех! Так что́ же вы впустую придираетесь к безупречному в данном случае словоупотреблению?! «Всей роте пошили сапоги»,— неужели здесь «правильнее» сшили?! Тогда вы — «нечувственники» языка! (Да будет позволено мне это старинное выражение.) И зачем вводите в заблуждение читателей, давая заведомо неверную справку, будто слово «пошить» только и означает, что «Провести некоторое время, занимаясь шитьем»?!

Пожалуй, и хватит примеров. Я вовсе не думаю этим отрицать ученые заслуги Института в целом. Труды его мне известны. Но вот эта «ветвь», популярные эти книжечки с претензией учить русский народ и его писателей русскому языку — эта «ветвь» больная, она поражена «филоксерой»! Оставьте это «наездничество» тому маститому литератору, кто призывает «клеймить позором» за формы «договора», «инструктора»,

«сколько время?», «мирово» и в особенности за форму «ляжь!» вместо «ляг!». Тут он признавался, что он испытывал чуть ли не чувство отвращения к женщине, которая произнесла: «ляжьте!»

Десятки миллионов людей и сейчас еще предпочитают форму «ляжь», ибо она гораздо благозвучнее, чем гортанное «ляг», стоящее к тому же особняком-одиночкой среди форм повелительного наклонения. И никакого тут бескультурья нет, а просто-напросто многие предпочитают держаться исконной древнерусской формы «ляжь», «ляжьте» (обычное чередование в нашем языке звуков «г» и «ж»). Обе формы вполне равноправны.

«*Мирово́*»...— но мало кто знает, что это наречие вовсе не уличное, не блатное, а древнее русское слово с берегов Белого моря и что оно уже более ста лет находится в словаре Даля, без всякого осуждения. Наречие как наречие, ничуть не хуже других!

Особенную ярость так называемых служб языка вызывает устноречевое: «Сколько время?» Так и доселе говорят миллионы русских людей нашего Севера и Востока.— Нельзя! — Нет, можно! — Да кто же вам разрешил? — Русский народ и... Лермонтов!

Для меня было бы достаточно старинной, внесенной и в «Толковый словарь» Даля пословицы: «Не *вымем* корова доит, а рылом!», чтобы с полным правом отмахнуться от всех запретов.

А теперь приведу рассказ Ивана Панаева о том, как «господин Краевский» правил Лермонтова и что из этого вышло.

«Раз утром Лермонтов привез ему свое стихотворение:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно...

прочел его и спросил:

— Ну что, годится?..

— Еще бы! Дивная вещь! — отвечал г. Краевский.— Превосходно, но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность...

— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.

— Из *пламя* и света рожденное слово... Это неправильно, не так,— возразил г. Краевский,— по-настоящему, по грамматике надо сказать: из *пламени* и света...

— Да если этот *пламень* не укладывается в стих? Это вздор, ничего,— ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности — и у Пушкина их много... Однако... (Лермонтов на минуту задумался)... дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался...

Прошло пять минут. Мы молчали.

Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

— Нет, ничего не пойдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук...»

Сошло!

...Кстати, я видел недавно выпущенную книгу с заглавием: «*Из пламя* и света»...

Обобщая, можно сказать, что слова: *пламя, имя, знамя, стремя, вымя,* где в косвенных падежах возникает «ен», произошедшее из «юса»,— русская речь, а затем и виднейшие наши классики нередко применяют в «усеченной», попросту говоря, форме.

Никакой неправильностью это не является.

Почти против каждого из этих «Нельзя!» — можно с полным научным обоснованием поставить: «Нет, можно!»

Бедствие «запретительства», как видно, постигло не одну только русскую речь и литературу. Вот свидетельство академика и поэта Максима Фаддеевича Рыльского:

«Дорогой Алексей Кузьмич!

Большое Вам спасибо за Ваши высказывания о русском литературном языке, под которыми я решительно подписываюсь. Делаю это тем охотнее, что у нас, на Украине, еще больше языковых нормализаторов, охранителей, запретителей, ограничителей и т. п. Пушкинские слова — «ничто не должно мешать свободе нашего языка» — (цитирую по памяти, неполно и, разумеется, неточно) должны быть нашим общим девизом.

С приветом *М. Рыльский* *21. VI. 1960»*

НЕМЕРКНУЩЕЕ СЛОВО

Когда В. И. Ленин просил подобрать для него небольшую библиотеку при Совнаркоме, в его списке книг рядом с такими исполинами русского художественного слова, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Чехов, стояло имя Сергея Тимофеевича Аксакова.

Писатель, создавший «Семейную хронику», «Детские годы Багрова-внука», «Записки об уженье рыбы» и «Записки ру-

жейного охотника», был достоин такого почета. Свыше ста лет минуло от написания этих книг, а они и сейчас — неисчерпаемая сокровищница русской речи и средство к воспитанию в человеке глубинного и трепетного чувства природы. Вместе с тем «Семейная хроника» и «Детские годы» обладают немалой политико-социальной ценностью. То признано было и Герценом, и Чернышевским. «Семейную хронику» Герцен определил как «огромной важности книгу».

Хотя и душевному складу С. Т. Аксакова, и его повествовательному речестрою не свойственно было гневно-страстное обличение, но и тех страниц, что в его «Семейной хронике» посвящены изображению изуверств и мерзостей крепостного права, включая и семейный быт самих помещиков, довольно, чтобы запечатлеть в сознании многих поколений нравы и образы проклятого царского строя. Достаточно вспомнить чудовищный образ помещика Куролесова, чья «кровожадная натура... воспламеняемая до бешенства спиртными парами», представляла, по словам Аксакова, «одно из тех страшных явлений, от которых содрагается и которыми гнушается человечество». Да и в безудержном самовластии Степана Михайловича Багрова-деда, чей облик многими своими сторонами явно мил внуку-воспоминателю, разве утаены темные и страшные черты коренного крепостника-рабовладельца?

И разве не замечали вы, читая «Семейную хронику», «Детские годы», «Воспоминания», что и вам, как самому Сереже Багрову, радостно вырваться из этого удушливого мира на свежий и вольный воздух, куда-либо на берег Демы и Бугуруслана? И не тем ли сильнее обаяет вас прелесть и величие природы? А, пожалуй, и не будет пустой догадкой, что в самом построении этих аксаковских повестей резкая несхожесть двух миров — домашнего, крепостнического, и вольного мира природы — послужила писателю могучим приемом художественного воздействия.

Есть и еще одно большое общественно-политическое достоинство в светлом творчестве С. Т. Аксакова — гражданское мужество писателя. В беспросветную пору, во времена Николая I, он поднял голос против угнетения малых народов, против их эксплуатации. Он был в подлинном смысле слова друг башкирского народа. Родившийся и возросший в пределах «Уфимского наместничества», как тогда именовались обширные просторы Башкирии, Аксаков осуждал в своих творениях и царское правительство, и помещиков, и купцов, и кулаков за их угнетательскую и хищническую политику в отношении башкир.

В творчестве С. Т. Аксакова заключены бесценные богатства русского народного языка. Трудно что-либо и теперь прибавить к отзыву, который дал о языке Аксакова Тургенев: «Слог его мне чрезвычайно нравится. Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого — свобода и точность выражения одинаково замечательны».

К сожалению, у нас в литературной среде далеко не редкость отделываться самыми почтительными поклонами в адрес русских классиков вместо того, чтобы подвергнуть конкретному, точному разбору и словарь, и строение речи у того или иного из них.

Исследование языка и стиля С. Т. Аксакова, деловое, точное — это, на мой взгляд, давно назревшая потребность. Какая щедрая откроется россыпь замечательных русских слов и речений, которые в народе и не думали умирать, а только кажутся почему-то «нелитературными» тому или иному аналитику языка! Точности и вещественности словаря, то есть его материальной изобразительной силе, обладание которой делает излишними многие стилистические ухищрения,— вот чему в первую очередь может поучиться молодой прозаик у Аксакова.

Но откуда берутся эти качества? Они приходят из опыта, из конкретного знания той области, о которой пишешь. Весь мир русской природы воспринимался С. Т. Аксаковым в постоянном общении с крестьянином-рыболовом, звероловом и охотником. От них обогатил он свой язык естественной вещественностью народного языка.

Примечательно, что совсем иным был язык того же самого Аксакова в произведениях ранней поры, посвященных вопросам театрального искусства и тогдашней литературы, язык, наконец, его стихотворных опытов, более достойных названия вирш. Народностью там и не веет. Многое и выспренне, и старомодно.

Не случайно все свои немеркнущие произведения писатель создал на исходе жизненного пути, уже достигнув шестидесятилетия.

Аксакову суждено было пережить и Пушкина, и Гоголя, перед которыми он благоговел. Тот могучий переворот в языке литературном, какой совершен был этими двумя исполинами, увлек, вдохновил и определил Аксакова как художника русского слова.

Буквально пригоршнями можно черпать из произведений Аксакова самоцветы народного словаря.

И следует раз навсегда запомнить, что это у него в своей, авторской речи, а вовсе не в диалогах.

Все стигматы, все признаки исконно-русского формо- и словообразования, множество приемов просторечного речестроя найдет молодой писатель в произведениях С. Т. Аксакова. И по отвычке иного городского книжника от народной речи, осудит он, книжник, объявит «нелитературными» иные из аксаковских слов и речений. Горсточка примеров.

Каждый из нас знает слово *гибкий*. И, казалось бы, для чего еще Аксакову наряду со словом *гибкий* применять, и многократно, слово — *гнуткий* или, наоборот,— *негнуткий*? А вот поди ж ты! — старик находил это нужным: «Гибкое удилище согнулось в кольцо до самой руки... Тонкая леса моя была так крепка, удилище так гнутко...» «Надобно крепкую лесу, очень гнуткое удилище».

Тонкое различение в словаре покажет, что в слове гнуткий, через суффикс «т» более выражена пассивность, страдательность. Человек «гнутким» быть не может, а удилище — да. Тончайше, как свойственно это русскому языку, различает Аксаков глаголы: ссучивать, свивать и сплетать (лесу удочки). Просто и безупречно применяет отглагольные существительные, которые, пожалуй покажутся иному и недозволенными в литературном языке: «гибь» удилища, «зыблемость» лесы в воде; «потяжка» (рыбою) поплавка́ и т. д. и т. д. Не смущается написать «простее» вместо «проще». Не пугает его необычное в языке книжном наречие — «наслабй»; «тонеет» кажется ему иной раз более к месту, чем «тончает». С чисто народной точностью пишет он, что «язь очень костлив». Не «костист», а именно — «костлив». Вся многовидность русского глагола, столь свойственная устной народной речи, и достигаемая смелой суффиксацией и префиксацией, в полном ходу у Аксакова: «Я не слыхивал», «я уживал», «я нахаживал», «я стреливал», «переудивши в жизнь мою несчетное множество карасей», «какую я зазнал её (область) назад тому сорок пять лет», «народонаселение... поизмяло его (Оренбургского края) роскошные луга».

Поражает свежесть и богатство его определений-прилагательных. Вот что, например, пишет он о щуках: «Хотя на удочке они очень бойки и в движениях быстры, но как-то не упористы, а ходки и на поворотах повадливы».

Высокое чутье поэта подсказало Аксакову восстановить чудесный народный эпитет «месячная», вместо поизносившегося — «лунная»: «к светлой месячной ночи». Знает Сергей Тимофеевич, когда освежить славянизмом «алчный» опять-таки

поистершееся «жадный»: в одном случае у него «непомерную жадность щуки», а в другом — «алчность щук не имеет предела».

«Суво́и снега» — ведь это же не совсем-то «сугробы», и не надо бы и современному русскому языку утрачивать тонкость различения этих двух синонимов: «Полосы снежных сувоев»,— какая изобразительность, зримость: в этом слове будто бы сама позёмка расписалась на снегу, сам ветер!..

Народность литературного языка, щедрость словаря, точность, выразительность речестроя, его смелость — все эти достоинства хорошей, добротной прозы должны быть в особенности присущи художественным произведениям советских писателей и поэтов. Ибо великая наша эпоха требует и равновеликого слова.

Непрестанное бытие среди народных масс, а не «гостьба», не «наезды», это одно из главнейших средств обогащения писательского языка. Другое — это учеба у классиков русского художественного слова.

Среди них одно из первых мест принадлежит Сергею Тимофеевичу Аксакову!

Аксаков изумительный психолог отроческой души.

И природа, и люди — пейзаж и портрет — равным образом даются перу Аксакова. Не изощренными эпитетами, не причудливой перестановкой — инверсией членов предложения, не метафорами, не каким-либо другим «извитием словес» достигает Аксаков зримости, высокой художественности своих изображений и описаний — нет! — а именно точностью, богатством словаря и поистине народной ясностью и простотой речи.

Сожалея о тех, кто только и думает «о своих пошлых делишках» да утешается «благовонием загнивших прудов» в своих жалких усадьбах, не ведая могучей красоты привольной природы, Аксаков дает образчик чудесного пейзажа: «Приведите их в таинственную *сень и прохладу дремучего леса,* на равнину необозримой степи, покрытой *тучною,* высокою травою; поставьте их *в тихую, жаркую летнюю ночь* на берег реки, *сверкающей* в тишине *ночного мрака,* или на берег сонного озера, обросшего камышами; окружите их благовонием цветов и трав, прохладным дыханием вод и лесов, неумолкающими голосами ночных птиц и насекомых, всею жизнию творения: для них тут нет красот природы, они не поймут ничего!» (Подчеркнуто мною.— *А. Ю.*)

Не знаешь, чему более дивиться: живописной силе и полноте изображения или суровому отбору изобразительных средств.

Вот кистью изумительного художника написанная картина переселения на новые земли крепостных крестьян: «Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, началу сенокоса, нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав дворовую птицу на верхи возов и привязав к ним коров, потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с стариною, с церковью, в которой крестились и венчались, и с могилами дедов и отцов».

Невольно приходят на память картины передвижников, исполненные того же реализма и жизненности.

Аксаков обладал каким-то непостижимым даром изображать природу и человека слитно, в неразделимом единстве. Вот он рассказывает как бы мимоходом о том, как после жестокой, изнурительной зимы, весною, башкирское селение выгоняет свои косяки, стада и отары в зазеленевшие тучные степи: «И вы никого не узнаете через две или три недели! Из лошадиных остовов явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребец гордо и строго пасет косяк кобылиц своих, не подпуская к нему ни зверя, ни человека!.. Раздобрели тощие, зимние стада коров, полны питательной влагой вымя и сосцы их. Но что башкирцу до ароматного коровьего молока! Уже поспел живительный кумыс, закис в кобыльих турсуках, и все, что может пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьет допьяна целительный, благодатный богатырский напиток, и дивно исчезают все недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся лица, румянцем здоровья покрываются бледные, впалые щеки». Литая проза! И какая полнота, какая зримость и вещественность у этого бесхитростного, мужественного русского слова!

И ЭТО — КОММЕНТАРИИ?!

С давних пор заведен у нас хороший и вполне понятный обычай: снабжать издания классиков художественного слова различными пояснениями (комментариями), подчас весьма обильными.

Возьмем, к примеру, сочинения Лескова. Его изумительный русский язык, столь восхищавший Горького, изобилует не только просторечием, но и древнерусскими и старославянскими словами и выражениями.

Даже такой забытый грамматический оборот, как «дательный — самостоятельный», и тот встречается у Лескова: «Н о п р о с у в о з д е й с т в о в а в ш у рассуждено иначе, и от губернатора в консисторию последовал запрос...» Иному читателю все это предложение может показаться простой опечаткой. И вот здесь пояснение уместно. Я и уверен был, что найду его среди сотен других в пухлых комментариях, сопровождающих все одиннадцать томов нового собрания сочинений Н. С. Лескова, выпущенного Гослитиздатом. Увы! Языковым пояснениям вообще не повезло в этом издании. Многое обойдено молчанием из того, что следовало бы объяснить.

Лесков, к примеру, изобличается в том, что он перепутал двух святых — Моисея Мурина с Моисеем Угрином: «Судя по словам Лескова о мадьярском происхождении святого, он смешал его с Моисеем Угриным (ум. в 1043 г.), оскопленным за отказ от связи со знатной полькой, в плену у которой он находился». Сообщив эти интимные подробности об одном из святых, комментатор сопоставляет их биографии. Оставя за собой право сомневаться в насущной надобности у советского читателя в такого рода справках, я мимоходом должен здесь указать, что «Угрин» — отнюдь не фамилия, а означает попросту в е н г р, м а д ь я р. И, следовательно, писать «с Моисеем Угриным» — это ошибка. А следует писать — «Угрином». Вообще же говоря, поражает преизбыточность и подчас мелочная дотошность комментария. Поясняется каждый пустяк: и что такое фижмы — «панье», и что такое «шнип» на лифе в женской одежде, и прочее, и прочее.

Я знаю, что найдутся защитники и такого рода комментариев. Что ж, не буду спорить с ними. Скажу только, что отдел «смеси» еще ни одного читателя не сделал образованным.

Есть у Лескова очерк «Русское тайнобрачие». И между прочим рассказывается там об одной старушке, которую стали было расспрашивать как свидетельницу об одной давней свадьбе, а она, старушка эта, уж все за ветхостью перезабывала, запамятовала и ничего толком припомнить не могла: «Старушка,— сказано у Лескова,— которую всем этим мучили, думала, думала, как ей согласить свою шубу и сани с июльской жарой и ее поспешливость к внуку прежде его рождения и наконец объ-

явила, что ей забило память (разрядка моя.— *А. Ю.*)... А может быть, я никуда и не ездила. Где это помнить!»

Нуждается ли здесь русский читатель в том, чтобы ему «прокомментировали» выражение «ей забило памороки»? Конечно нет. Забыла старуха, запамятовала обстоятельства этой свадьбы за ее давностью и по причине своего «ветходневия». Только и всего. И что тут комментировать? Однако автор примечаний к шестому тому решил иначе, он разъясняет читателю: «стр. 583... ей забило памороки (народное выражение) — она упала в обморок». У Лескова и помину нет о каком-либо обмороке старухи, а вот поди ж ты!

Кстати, «забило (кому-либо) памороки» означает еще и затемнить кому-либо сознание, затруднить понимание.

В хронике «Захудалый род» рассказан такой случай. Некто Патрикей, слуга князя Протазанова, сопровождал его на войну. Протазанов гибнет в битве. Патрикей, никем не жданный, появляется в усадьбе. Первая увидела его одна из наперсниц княгини, женщина суеверная, она испугалась и приняла Патрикея за выходца с того света: «Верно, думаю, его там в сражении убили, он мне здесь как стень и является... я вскрикнула и как стояла, так назад и повалилась, потому что все думаю, что это мертвец».

Опять-таки: ну кто же из читателей усомнится, что «стень» здесь означает тень в просторечном произношении. Ведь и до самого последнего времени крестьянство севера произносило «стень» или «стинь». Кстати, это совпадает с чешским «стин — stin» и древнерусским — «стень». Комментатору, буде он не знает слова «стень», надлежало справиться в авторитетных словарях. И тогда у И. И. Срезневского в «Материалах для словаря древнерусского языка» в томе III, на стр. 589, комментатор прочел бы «стень... тень...— призрак, тень, видение...». «Толковый словарь» Даля полностью подтвердил бы это. «Стень ж... тень... подобие человека, привиденье, и при том бол. в значении своего двойника. Кто свою стень увидит, скоро помрет...»

Комментатор же решил заменить прямое знание русского языка своими «лингвистическими» догадками: стр. 14. Стень (древнерусск.) — боль, скорбь, кручина (от слова стенать),— разъясняет он озадаченному читателю!

Совсем неладно пояснен в комментариях к шестому тому Герасим Павский: «Герасим Павский (1787—1863) — известный богослов, переводчик на русский язык некоторых книг библии». А следовало бы пояснить это имя примерно так: «Ге-

расим Павский — один из классиков русской лингвистики, автор и доселе не потерявших свое научное значение «Филологических наблюдений». В николаевское время держался либеральных взглядов, за что и подвергся травле со стороны реакционных кругов. О нем с большим сочувствием говорит Пушкин в своем дневнике: «Филарет сделал донос на Павского, будто бы он лютеранин.— Павский отставлен от великого князя... Жаль умного, ученого и доброго священника!»

Современные советские лингвисты в суждениях своих по русской грамматике то и дело ссылаются на Г. Павского. Достаточно сказать, что академик В. В. Виноградов в своем известном труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове» ссылается на Г. Павского примерно шестьдесят раз!

Итак — известный лингвист, а что касается богословия, то как раз в этой области Г. Павский известным быть никак не может.

Комментарий вводит в заблуждение.

Попутно укажем еще на одно сомнительное в комментариях место, относящееся к древнему Киеву: «Михайловский монастырь — монастырь в Киеве, построенный в начале XII века, по преданию в честь защитников казацкого рыцарства». Странно, странно!.. Ведь в начале XII века вообще никаких «казаков» не было...

На стр. 556 тома IV комментатор подчеркивает, что Дмитрий Ростовский «впервые» издал Минеи-Четьи. Следовало, напротив, указать, что первым составителем Миней был Макарий, еще при Иване Грозном, а Дмитрий Ростовский, живший при Петре, подверг Четьи-Минеи Макария переработке. Он был вторым, а не первым.

Иному читателю может показаться, что я придаю слишком большое значение ошибкам комментаторов в разъяснении того или иного русского слова. Смело можно утверждать, что ошибка в толковании одного-единственного слова может коренным образом извратить картину целого исторического события.

И вот вам один из печальных примеров. Есть книга П. Лопатина «Москва», изданная Детгизом еще в 1939 году.

Одно из достопамятных событий Смутного времени — это создание народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Толкуя соответственное место летописи, комментатор пишет: «Летописцы единодушно рассказывают, что у нижегородцев «никакой спо-

рины не было: сам народ шел устанавливать «порядок на земле». По сходству со словом «спор», то есть несогласие, автор и слово летописи — «спорина» истолковал как споры, несогласие. А оно означает как раз обратное: успех, лад, согласие. И получилось у комментатора, что у нижегородцев сразу все пошло гладко, в ополчении была тишь да гладь, не было никаких споров, никакой распри. А на самом деле совсем наоборот: долгое время ополчение не могло уладиться. И в тексте, который автор берется разъяснить учащимся, как раз об этом ведь и сказано: «Бысть у них под Москвой меж себя рознь великая, и делу ратному спорыньи (т. е. успеха.— *А. Ю.*) не бысть». Летописец русским языком говорит, что дело сперва не спорилось, не ладилось, ибо «спорынь... то же, что спорина, спорость... Спорынья — успех, удача... прок. От порядку и догляду спорынья в хозяйстве живет... Спорый — успешный». Эти значения можно было легко найти в «Толковом словаре» Даля. Но автор книги опрометчиво приравнял слово «спорынья» к слову «спор» и в комментарии извратил истинный ход исторических событий, благодаря лишь одному непонятому слову.

АРХАИЗМЫ В ПОЭТИКЕ МАЯКОВСКОГО

1

Советские писатели, дабы стать достойными носителями этого высокого звания, должны строить новое. Строительный материал наш — вокнижившееся слово. Но разве можно забыть, откуда, через самозабвенный, в подлинном смысле научный труд, добываем мы это слово, эту «словесную руду»?

Поэзия —
    та же добыча радия.
В грамм добыча,
    в год труды.
Изводишь,
    единого слова ради,
Тысячи тонн
    словесной руды.

Каждый из писателей, вероятно, замечал в критических статьях выпады против «архаизмов» и «просторечия». Причем **термины эти не уточнены.** И в этом последнем обстоятельстве — главное зло.

Я же оговорюсь, что буду применять термин «архаизм» в таком толковании: **архаизм** — это слово или речение, которое уже давным-давно вышло из речевого обихода или не имеет предметного себе соответствия в современной жизни. Лоно, твердь, палица — суть архаизмы.

Термин «просторечие», «областное просторечие», когда-то широко принятый, применен мною в буслаевском понимании. Ф. И. Буслаев, когда писал **«областное просторечие»,** разумел **не узко локальное языковое явление, вятское или балахонское,** как говаривал Горький, но, попросту говоря, **живой народный язык.**

При попытке использовать в качестве точных понятий такие выражения, как «модернизация», «архаизация», то и дело наталкиваешься на неожиданности. Так, слово «отоварить» — отнюдь не словотворчество снабженцев. Оно встречается еще в Никоновской летописи (I, стр. 50): «богат сый житницами, отоваренными...»

Иной редактор обязательно вычеркнет, если князь XIII века спросит:

— А что у нас сегодня к завтраку?

Так-де в XIII веке не говорили. Нет, говорили. И даже в XII веке. В «Слове о полку Игореве»:

«Избивая гуси и лебеди завтроку, обеду и ужине».

«Двурушник», если вдуматься,— седой архаизм: «держать чью-либо руку» — означало быть чьим-либо сторонником. И тот, кто переметывался то на ту, то на эту сторону («руку»), был двурушник.

Один рецензент настаивал, чтобы слово «расстреляем» было выброшено из исторического романа: в XII, XIII веках в древней Руси так-де не говорили, недопустимая, мол, модернизация! Автору пришлось сослаться, во-первых, на разговор Кончака и Гзы в «Слове о полку Игореве»:

«— Аще сокол к гнезду летит, соколича *расстреляеве* своими злачеными стрелами!» Затем из Лаврентьевской летописи, под 1097 годом: «А заутра позори повесиша Василия и Лазаря и *расстреляша* стрелами Василковича».

Толща языка, его главное русло до последних десятилетий изменялось неторопливо, как Волга. Это азбучная

истина, что и сейчас в Архангельской, Вологодской, Костромской и других областях, кое-где в Сибири уцелели гнездовья живого языка, восходящего к XIV, XV векам.

Бани упоминаются еще у Нестора. Утварь крестьянского обихода — сковорода, кадь и т. д., плуг, соха, лошадь и тому подобные слова встречаются еще в памятниках XI века.

Что есть архаизм, а что не архаизм? Где научное мерило? Говорят: архаизмы — это то, что безнадежно обветшало, забылось, вышло из употребления.

Но разве слово «надолбы» для широкой публики не было мертвым словом, пока его, пронесенное через толщу веков в профессиональном языке, не вернула в литературный язык война? Москвичам и суздальцам надолбы понадобились еще семьсот лет назад: в Новгородской 1-й летописи, под 1238 годом, сказано: «и оступиша их татарове у Коломны, и бишася крепко, и прогониша их к *надолбам*».

А вот в Никоновской, под 1541 годом: «Князь великий... велел пушки и пищали по местам ставити... и у посаду по *улицам надолбы делати*».

Правда, эти надолбы ставились против конницы, а не против танков. И в этом лишь разница.

Наши центральные газеты ныне безбоязненно воскрешают тысячи уже угасших слов, и этим они борются против обмеления языка.

Это, впрочем, не освобождает журналистов от упрека в пристрастии к целым наборам затертых слов и выражений. Все еще побаиваются устноречевой стихии, косятся на «просторечие», а в особенности — на пресловутые «славянизмы» и «архаизмы».

И все ж таки, все ж таки, несомненные архаизмы и славянизмы, тысячами воскрешаемые газетой,— такие, например, как *зарубежный, здравица, узы, возглавил, повернуть во прах, самоотвержение, поле брани, злодеяние, держава, нерасторжимый*, и т. д. и т. д.,— изо дня в день могучим потоком властно вторгаются в литературный язык современности.

Архаизмы нашего языка — одни относятся к древнерусскому языку, другие — к церковнославянскому. Но почти как правило: если критик бранит кого-либо за архаизмы и просторечие, то отрицательными примерами у него служат именно **древнерусские слова,** которые всегда почти **совпадают с областными,** с теми, что по старой языковедческой терминологии обозначались как «просторечие».

Церковнославянизмы же обычно порицают **вообще,** не приводя примеров. И это оттого, что критик перестал отличать в

своей собственной речи эти самые церковнославянизмы. Он к ним слишком привык. Даже в трамвае он то и дело безотчетно употребляет их: «Гражданин!.. Здравствуйте!» Значительную часть нашего живого языка придется выкинуть, если поднять гонение на церковнославянщину: *глава, заглавие, главный, единение, единогласно, соглашение, враг, влага, древесный, зрелище, зритель, благоразумие, блаженство, благородство, ограда, око, предначертание, самоотвержение, среда, превращение, сведущий, учреждение* и т. д. и т. п.

2

Архаизмы как средство поэтики широко применял поэт, в отношении которого это как-то не принято было полагать,— Владимир Маяковский. Особенно он любил это делать в преднамеренной сшибке с так называемыми вульгаризмами и варваризмами.

В этом направлении у него был предшественник, чье имя прозвучит, вероятно, неожиданно: Державин. Вот что писал о языке Державина Гоголь:

«Все у него крупно. Слог у него так крупён, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения *самых высоких слов с самыми низкими и простыми*, на что бы никто не отважился кроме Державина».

Маяковский словотворил, новаторствовал, многое ломал: однако все, что он сделал, находится в полном согласии с законами языка. Его словотворчество вступало иногда в конфликт с школьными правилами, но не с законами языка. Чтобы увидеть эту согласованность, временами приходится обращаться не только к древнему нашему словарю, но и к древнему синтаксису.

Существует мнение, будто бы Маяковский пользовался архаизмами лишь в пародийном плане. Это неверно. Напротив, количество явных архаизмов сильно уменьшается у него, если идти от поэм с громадным лирико-трагедийным напряжением к произведениям чисто сатирического порядка.

Вспомним, к примеру:

Мама!
Петь не могу.
У церкови сердца занимается клирос!

(«Облако в штанах»)

Или:

я,
Златоустейший...

(Там же)

Или:

Это взвело на Голгофы аудитории
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»

(Там же)

Какая же здесь «пародийность»?!

Архаической — и даже библейской — речью пытается Маяковский говорить и о своем предчувствии революции:

в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча,
я — где боль, везде,
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте...

(Там же)

Речь идет не о том, в каком плане — трагедийном или пародийном — использовал Маяковский архаизмы, а о том, что древнерусский и вообще архаичный словарь был послушным инструментом у Маяковского.

3

В то же время Маяковский вполне определенно понимал, что употребление архаичных слов сближает язык с так называемым областным просторечием. Поэтому он предъявлял два требования к русским писателям.

Первое требование — словотворчество, поиски в области сравнений и определений.

«Второе, — цитирую Маяковского, — сделать язык русским. Конечно, это не имеет ничего общего с желанием называть калоши мокроступами, потому что делается это не произвольно, а сообразно общим законам рождения слов... Русский язык — второе требование жизни».

Эта цитата указывает на *сознательное* и *научное* словотворчество Маяковского.

Маяковский не боялся «огрубления» литературного языка. Быть может, иногда в поэтической ярости он впадал и в край-

ность. Но все же огрубленье огрубленью рознь! В практическом же смысле борьба идет между теми, кто считает, что в работу надо стремиться впрячь всю мощь языкового океана, что в этом океане для художника перегородки веков и областей более воображаемы, чем реальны,— и между теми, с другой стороны, кто всерьез поверил, что «меридианы на части режут наши страны», кто довольствуется огрызками языка и стремится объявить литературным языком только тот свой «расслабленный интеллигентский язычишко», для усвоения коего лично у него хватило охоты и времени.

В этот спор давно внесена была ясность А. М. Горьким: он высоко ценил богатство народного языка, но при этом всегда подчеркивал основное в работе литераторов, которые «из стихийного потока речевого бытового языка произвели строжайший отбор наиболее точных, метких и наиболее осмысленных слов». Однако ведь работа этого отбора далеко не закончена. Осталось же что-нибудь и на нашу долю!

Маяковский не ломал и не коверкал русский язык! Язык родного народа был для него уже и одним тем краше и выше остальных, что это был язык Ленина!

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.

С яростью и негодованием обрушивается Маяковский на сторонников «расслабленного интеллигентского язычишка».

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать...

Маяковский предреволюционных лет, чуя (он ценил это древнерусское, а ныне украинское и областное слово — *чуять)* — чуя, как близок уже «главою голодных орд» год революции, бросал клич свой площадям и «уличным тыщам»:

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
Присосавшихся бесплатным приложеньем
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молвить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории...

4

Из древней нашей литературы, пробивая толщу веков, «через горы времени», как сказал бы Маяковский, звучит недосягаемо и прекрасно, грозно и мужественно «Слово о полку Игореве».

Немного ниже я приведу некоторые примеры влияния «Слова о полку Игореве» на Маяковского.

А здесь укажу, что *перебивка поэмы лирико-патетическими возгласами, глубокие заходы в прошлое и, наконец, апофеоз конца, пришедший на смену чрезвычайно мрачным картинам,*— все это роднит «Слово о полку Игореве» и «Войну и мир» Маяковского.

Это должен будет отметить каждый, прочтя то и другое подряд, непременно вслух, и сопоставляя как ритм, так и композицию.

Я думаю, что не Уитмен, а «Слово о полку Игореве» было образцом для больших лирико-эпических симфоний Маяковского. Поэтика Маяковского, даже при беглом сопоставлении, обнаруживает много словарного и синтаксического сходства с поэтикой Древней Руси.

Любопытно, что первоначальным названием «150 000 000» было «Иван Былина. Эпос революции».

Для доказательства применим простой и выгодный, хотя, быть может, и монотонный, способ сопоставления.

В первую очередь мы рассмотрим здесь в сопоставлении: словарь (лексику) Маяковского, словообразование и, наконец, словоуправление (синтаксис).

Вот словарик, выписанный при самом беглом просмотре из поэм Маяковского: «Тринадцатый апостол» («Облако

в штанах»), «Война и мир», «Флейта-позвоночник» и «Человек»).

Архаичность этих слов прямо чувствуется каждым. Читатель, продолжив эту работу, легко сам может из двенадцати томов Полного собрания извлечь *тысячи* древнерусских и древнецерковнославянских слов. А процентный подсчет, несомненно, еще больше покажет, что Маяковский умел превращать архаизмы в мощные языковые средства.

Словарь: *вспять*, *днесь* («голос подъемлю *днесь*»), *глашатай*, *«мертвые сраму не имут»*, *«уличных блудилищ»*, *дивеса* (от «диво»), *вертеп*, *осенять*, *разверстые жерла*, *чело* (чело земли: морщины окопов легли на чело» — и чело любимой женщины), *благоухает*, *огневержец*, *дланями*, *уста*, *златоустейший*, *терновый венец*, *долы*, *плаха* («как с *плахи* голова казненного»), *клирос*, *«смелостью смерть поправ»* (о Наполеоне), хлеб наш насущный *даждь* нам *днесь»*, *«око за око!»*, *очи*, *распятья*, «и *тверди* и воды», «небесные *тверди*», *идол* («подножию *идола»)*, *искупительная* (драма), *причастие*, *шествие*, *чающий*, *ковчег*, *отпуститель*, *сошествие*, *пятилучие*, *«охоты сокол»*, *иго*, *осанна*, *пророки*, *воздвигся*, *разверзлась*, *ризы*, *утло*, *лоно* и т. д.

В стихах злободневных, сатирических и в агитпоэмах количество несомненных архаизмов резко снижается. Обычно в этих случаях они работают пародийно. Однако далеко не всегда.

Здесь встречаем: *воздали дани*, *славословие*, *«почетнейшие лики»*, *«Крыма скалоликого»*, *облекаться*, *«не тщась взлететь»*, *«презрев времена»*, *«красных рать»*, *«белый плат»*, *содружие*, *венец*, *мощи*, *челядь*, «сила наша *исполинска*», *троица*, *волхвы*, *«венец победный»*, *«под кровли хижин»*, казнокрад, возносит, *«взмахнул я палицей»*, «не страшны никакие *узы»*, *преисподняя* и т. д.

От приведенных слов веет архаистикой, но они для каждого понятны, так что едва ли потребуется справка из словарей. Вообще же говоря, большинство наших слов древни. Однако для того, чтобы именоваться архаизмами, они должны уже выйти из бытового употребления и иметь некий налет старины (а суждение об этом налете — дело более чутья, вкуса и языковой практики, чем какого-либо научного критерия).

Посмотрим, в каких древнерусских памятниках, какого века встречаем архаизмы, которыми пользуется Маяковский.

«Мертвые сраму не имут!» — это речение из поэмы Маяковского «Война и мир» — есть не что иное, как воззвание князя

Святослава к русским воинам перед битвой 971 года: «мертвый бо сорома не имаеть» (Ипатьевская летопись). Любопытно, что «сором» — это русское, а «срам» — церковнославянское слово.

«Око» находим еще в Остромировом Евангелии (XI век): «Око твое лукаво есть» (Мтф. XX, 15).

«Предтеча» — у Григория Назиянина (перевод, XI век): «Предтеча бе великого света».

«Осенять» (осеняти) — Остромирово Евангелие.

«Лоно» — «На лоне безумных почиваеть» (XI в., Пандект Антиоха); «...и от лона Авраама...» — Григ. Наз., XI в.

«Твердь» — «разделишася воды, пол их взъиде на твердь, пол их под твердь» — Ипатьевская летопись, 986 год. Беседа византийского философа с князем Владимиром.

Кстати, у Маяковского встречается: «и тверди и воды».

«Уста» — «отверьз уста еи» — Остромирово Евангелие (XI век); «паче меда устам моим» — Даниил Заточник (XII в.); «От избытка бо сердцу уста глаголють» — Остромирово Евангелие.

«Чаяти» — ожидать: «...чающих движение воды» — Остромирово Евангелие, и т. д. и т. д.

Архаизмы, употребляемые Маяковским, почти все могут быть найдены в литературных памятниках Древней Руси XI — XIII веков.

Но разве от этого язык Маяковского стал хуже, слабее? Разве его служение революции стало менее действенным от избытка архаизмов в поэтическом словаре?!

Маяковского не отпугивала и тысячелетняя давность русского слова, если в «арсенале старых слов» оно не истлело, не покрылось ржавчиною и могло быть оружием в боях за социализм.

5

Одна лишь голая лексика, даже и при столь разительном совпадении с древнерусской, не может еще служить основанием для того, чтобы утверждать близость поэтики Маяковского с поэтикой Древней Руси.

Коснемся приемов **словообразования** у Маяковского, опять-таки сопоставляя с древнерусским словообразованием.

Среди отличительных, существенных свойств литературного древнерусского (а также и народного, областного) языка Ф. И. Буслаев называет чрезвычайную простоту и легкость

образования сравнительной степени от существительных и прилагательных относительных.

Такие словообразования, как *скот — скотее, берег — бережее — бережистее,* были свойственны древнерусскому языку.

Эти формы в современной литературе не встречаются и звучат для нас весьма непривычно.

Между тем у Маяковского: «чем дальше — тем ночнее»; «любовь к тебе расцветает романнее и романнее».

Даже и чужестранное существительное «роман» использовано для образования прилагательного в сравнительной степени по закону древнерусского (и областного) словообразования.

С помощью суффикса *«ист»* от существительного «Нью-Йорк» Маяковский образует «Нью-йоркистей», а от существительного «шпора» — «шпористей».

«Вильгельмов сапог Николаева шпористей».

Древнерусский язык (и уж, конечно, как всегда, областной) особенно богат существительными увеличительными, образованными с помощью суффиксов *ищ, ущ, ющ,* а затем — уменьшительными, ласкательными, уничижительными.

Цитирую «Опыт исторической грамматики русского языка» Буслаева:

«1. Церковнославянский язык употребляет более формы уменьшительные и ласкательные, нежели увеличительные и уничижительные. 2. *Древнерусский язык и областное просторечие всеми этими формами замечательно обильны.* 3. Что же касается до речи книжной, то она, приближаясь к складу церковно-славянского языка, весьма ограничила употребление этих форм...» (то есть увеличительных и уничижительных).

Увеличительные формы имен существительных из древних и старинных памятников — на уме у каждого: *старчище пилигримище, идолище поганое, гость. Тергнтьище, кинжалище булатное, каличище Иванище* и т. д. и т. д. (см. «Былины»).

Общеизвестный гиперболизм Маяковского — как ярчайшая примета его поэтики — нашел в этом свойстве древнерусского языка возможность подлинного художественного размаха.

Вот образцы образования Маяковским увеличительных представлений имен существительных:

«Вавилонищ, головйща, землища, ручища, ручьища, (множ. число от «ручей»), *звоночище, словоблудьище, голосища, «диадемищами», сапожища,* мои *глазища, «шерстищу* с *лапищ* и с *мордищи* выбрил», *кровищу, Колчачище, «плетищи* царевых манифестов», *дымище, хвостище, усища,* «рассвет *лучища* выкатил», *«адище, голодище, коридорище...»*

Примеры с легкостью можно увеличить. Нет в русском языке существительного — пусть даже оно будет с иностранного! — к которому Маяковский, в случае надобности, не пристроил бы увеличительный суффикс.

И другая особенность древнерусского литературного и нынешнего областного языка — обилие уменьшительных, уничижительных, ласкательных — так же сильно выражена в поэтике Маяковского.

Еще раз об этой особенности — из «Опыта исторической грамматики»: «В старинном языке, удержавшем на себе сильнее нынешнего книжного следы разговорного начала, отношения говорящих между собою и к предмету речи весьма выразительно обозначились именами уменьшительными или увеличительными, ласкательными или уничижительными.

Например, в Лаврентьевской летописи — «местьце мало», «поставиша церковьцю малу», «словца...», в Юрид. актах — Семенец (Семен), 1529; поместейца, крестьянинец, 1611; Иринка, Ириньица, с Марьицею, 1694, и проч.

«Бог волен да и ты своею отчиною и с нами людишками своими», Псковск. летопись; «нам бедным погорелым людишкам впредь дати льготье», 1640; в Юрид. актах: «корешишко (от корень, ср. у Маяковского: язычишко), де имянуетца девятины, от сердечные скорби держат, а травишко де держат от гнетишные скорби».

Буслаев мог бы поистине Маяковским воспользоваться, чтобы привести примеры этого древнерусского словообразования! Подобно древнерусскому и областному, Маяковский с легкостью образует от одушевленных или неодушевленных имен существительных — ему все равно! — все разновидности и уменьшительных представлений.

Ни у кого другого не найти столько уменьшительных, ласкательных, уничижительных.

Слово *любовь* у Маяковского — не только любовь, но и — *любовишка, любеночек.*

Поцелуй дает у Маяковского *поцелуишко, луч — лученыши, Вавилон* — не только *Вавилонище*, но и *Вавилончик; «У церковки* сердца»; даже фабрикант пушек *Крупп* есть у Маяковского в форме *Круппик, труп — трупик* («умерших слов разлагаются *трупики*»), «не хватает какого-то *сложка, звучика*», *транспорты* и *транспорточки, язычишко,* миллионами *кровинок, Евочек, мненьице, лонце* (от лоно), *жизнишка, мыслишка, женка, одежонка, лбенки* (*«мыслишки звякают лбенками меднень-*

кими»), *гражданинчик, рифмишки, пенснишки, пожарчик, коленце, сенцо, землица, облачишко* и т. д. и т. д.

Слово *«медненький»* открывает перечень уменьшительных, которые Маяковский производит от имени прилагательного:

голодненькие, потненькие, покорненькие, «закисшие в блохастом *грязненьке...*»; «место *спокойненькое, тихонькое*»; «я — *блаженненький», жаленький, голенький, «желтенькое* сердечко», «*желтенький* ум», *«серенькая»*, «говор *скрытненький*», «в *бритенькие* губы», *тупенько* («выхмурясь *тупенько»)* и т. д. и т. д.

Чтобы закончить свой беглый обзор суффиксов, которыми столь охотно пользуется Маяковский в духе древнерусского (и областного) языка, коснемся окончания *«стый»*.

В одном из литературных памятников XII века сказано: «увидех жену ротасту, устасту, челюстасту».

О таких окончаниях Буслаев говорит, что относительно приставок и окончаний древний язык отличается точностью и пониманием значения приставок и окончаний...

«Так, например,— продолжает он,— теперь нужно уже объяснить, чем различаются между собою окончания *тый* и *стый*, сказав, что первое, собственно, означает принадлежность, а второе — избыток, превосходство; например: рог-а-*тый* — значит с рогами, а рог-а-*стый* — с большими рогами. В старину не только ясно понимались эти окончания, но и легко прилагались к корням слов для выражения точнейшего понятия. Так, например, от слова *«берег»* с окончанием *стый* в старину возможно было прилагательное *бережистый, бережистая;* например, о реке, текущей в крутых берегах (Ипат. лет., 123)».

Кому-кому, а уж Маяковскому не пришлось бы объяснять, чем различаются между собою окончания *тый* и *стый*, настолько точно понимал он, какое значенье придается этим *стый*, и до такой степени привык пользоваться этой формой прилагательных: *гербастый, серпастый, молоткастый* (советский паспорт); *клювастый* орел; мозг *лобастого* (неоднократно); *усастая* няня П. И. Милюков; *глазастый;* в *блохастом* грязненьке; *кудластый, крыластый* и т. д. и т. д.

Блюстителям «литературных норм» эти «астые», конечно, рвут «ушко». Но Маяковский нередко даже заострял сии окончания посредством рифмовки.

В литературе Древней Руси, а также и в областном языке чрезвычайно обильны собирательные, имеющие окончание *ье (ие)*.

«Просторечье,— говорит Буслаев,— свободнее образованного языка производит собирательные на *«ье»*. Например, област-

ные: кожье, кустовье, кусье, лычье, святье (святки). ...Древнерусский язык пользуется окончанием *ье (ие)* в именах, сложенных с приставкою: например, без-местье, за-морье, запсковье, на-вечерье, не-любье... по-морье, по-сулье, пад-ата-манье... роз-мирье. Пушкин употреблял таким же образом составленное слово «первосоние» («в неясных видениях первосония»)».

У Маяковского много таких именно речений — собирательных на *ье*, подчас весьма резко и непривычно звучащих: *стеганье* одеялово, *людье,* солнце-*глазье, многопудье* (бронзы), *дубье, тараканье, тысячесилье* (воль), *многолюдье,* звездное *репье, ребятье, пироженье* (нажравшись пироженьем) и т. п.

Древнерусский язык дает нам образцы бесстрашного образования прилагательных относительных (притяжательных), отвечающих на вопрос *«чей».* Так, даже от местоимений — тот, оный, чей, сей — с дерзкой простотой образовывалось: *тогов, оногов, чьегов, сегов.* От слова *убежие* (убежище) очень просто образовывалось относительное *убежий.*

У Маяковского — древнерусская простота и дерзостность словообразования прилагательных, отвечающих на вопрос «чей». Например, *коммунизмовы* затоны, *капиталовой* трубой. *Вандервельдичья, вещины* (губы) — от существительного вещь, *Муссолиний, Керзоньи* бредни, шагом *саженьим, бочкин, чахоткины,* скат *Апенниний,* лики *вышибальи* и т. д.

Грамматисты утверждают, что дозволены с суффиксом *ин* только относительные от имен, имеющих значение лица: Катин, мамин. Но народ в своей языковой работе давно опроверг это, свидетельством тому наши фамилии: *Бедин, Звездин, Победин,* образованные от предметов или понятий, а не от людей; «*Молниина* стрела»,— сказано в «Повести о взятии Рязани» о Батые.

Еще одна замечательная черта в словообразовании роднит язык Маяковского с древнерусским языком: это перестановка, переверт звуков, слогов. Особенно часто переставляются плавные *«р»* и *«л».*

«Опыт исторической грамматики» дает следующие примеры: *алк-ать, алчный, лак-омый, лачный* (при глаголе лакать); *длань,* областное — *долонь,* откуда с перестановкою — *ладонь;* слово сыворотка образовалось от формы *сыроватка.* В областном словообразовании также употребительна перестановка звуков: например, *ведмедь* вместо *медведь*; *девнесь* и *день весь; лопено* вместо *полено* и многое другое.

Одно время Маяковский развивал в особых экспериментах эту особенность древнерусского и областного языка.

Вот пример из Маяковского со словом *«раб»*, которое, переворачиваясь, дает *«бар»*:

...баров и бань...
Были рабы!
Нет раба!
(«150 000 000»)

Или:

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез...

Здесь — «слова-оборотни»: *улица* и *лица у; дог* и *год; резче* и *через.*

Здесь не только лабораторный эксперимент. Здесь, кстати сказать, использована еще и перестановка слогов:

ар-ба — ба-ра-бан.

Я уверен, что можно привести очень много примеров слоговой перестановки в стихах Маяковского. Вот еще пример:

Идут,
железом
клацая и лацкая...

Минуя лабораторные эксперименты Маяковского, подчеркну общеизвестную истину: в словотворчестве поэта удерживается народом лишь то, что сотворено по законам языка.

Словотворчество Маяковского оказалось стойким. Оно пошло в будущее!

6

Коснемся глагола у Маяковского опять-таки в сравненье с древнерусским языком и так называемым просторечием.

«В отношении к видам глагола русский язык отличается от церковнославянского тем, что более развил как многократные, так и однократные формы»,— говорит автор «Опыта историче-

ской грамматики». По разъяснению Буслаева, виды и залоги древнерусского и живого народного языка несравненно богаче ныне употребляемых.

Цитирую:

«Древнерусский язык производил многократные формы свободнее нашего... По формам многократного вида нынешнее областное просторечие ближе к древнерусскому, нежели к нашему книжному языку. Последний же (то есть книжный)... намеренно избегал многократных форм, из стремления усвоить себе склад церковнославянской речи, в которой мало употребительны эти формы».

Примеры, приводимые Буслаевым: давывал, купливал, веливал, отбивывал и т. п. «Относительно приставок и окончаний древний русский язык отличается: 1) точностью... 2) свободою в употреблении приставок и окончаний»,— заключает Буслаев.

В Маяковском и эти черты древнерусского и народного языка нашли бесстрашного своего воплотителя. Маяковский смело и свободно образует однократные и многократные формы глаголов, а приставками он пользуется избыточно и виртуозно:

Грохотом расчересчурясь, вызлить смерть, вызолачивайтесь, вымолоди себя, всклизились в землю (то есть разбились оземь), *выхващиваются хвосты, я поступью гения мозг твой выгромил, головы вымозжу каменным Невским, вырыщи* (от рыскать), *выхмурясь тупенько, изругивался, вымаливался, морда комнаты выкосилась ужасом, выпляшет до конца, расколоколивали, распеснить боль, выжиревший, обжиревший, издымится мясо дьявола, размедведил, помычивая, распрабабкина техника, расперегрянуло такое, свылись* (слезинки), *поулыбываясь, глаза наслезенные бочками выкачу, исслезенные веки*... и т. д. и т. д.

А вот деепричастия у Маяковского. И здесь кидается в глаза простота и смелость их образования — такие ж, как в древнерусском и в «просторечии»: *«жря и спя»; жмя; оря; растя* — «очередной роман *растя*»; *«жря и ржа»*; *испестря* (вместо испестрив) и т. п.

Примечательной является близость Маяковского к древнерусским литературным памятникам, а также к писателям-архаистам в употреблении слов сложных.

За малым исключением таких слов, как *паро-ход, паро-воз,* каждый чувствует в сложных словах архаичность. Даже такие неологизмы технической надобности, как *широковещание, радиовещание,* сложены по образцу древних церковнославянских слов, которые, в свою очередь, были переложением с греческого:

благо-ухание, веле-речие, чрево-вещание, благо-лепие, славо-словить и т. д.

Но и древнему русскому языку сложные слова были свойственны ранее, чем в него хлынула церковнославянщина.

Буслаев пишет:

«1. Еще до введения христианства в России наш язык употреблял слова сложные, как это видим из собственных имен: 1) языческих божеств, напр. Даж-бог, Стри-бог; 2) людей, напр. Володи-мир, Свято-слав; 3) городов, напр. Нов-город...» «В древнерусском языке, рядом с упомянутыми переводными словами, употребляются и чисто русские сложные, как нарицательные, так и собственные имена. Напр., в Ипатьевском списке: Держислав, Толи-гневич. Нарицательные имена в «Слове о полку Игореве» — «в моем тереме златоверсем», «на своем златокованом престоле» и проч. В древнерусских стихах «терема златоверховаты», «пески рудожелтые». В просторечии употребляется много слов чистого русского сложения. Некоторые стали общим достоянием языка: напр., душегрейка... краснобай... рукоделье... челобитье; другие — известные только в областных говорах: ледо-плав, листо-пад (месяц), лихо-манка, резко-став, худо-умный... и мн. др.».

У Маяковского образование слов сложных настолько следует этим древнерусским образцам, что иногда его сложные слова кажутся взятыми из «Слова о полку», из древнерусских летописей, а иногда напоминают переводы из Гомера Гнедича и Жуковского: «*медногорлой* сиреной, *огнедымные* бразды, стих *строкоперстый* (ср. розовоперстая Аврора), *громкоголосие* меди, *словоблудьище,* Москва *камнекрасная* (ср. белокаменная), *огневержец, огнеплещет,* мордой *многохамой, громогромыхающая* рифма» — последнее совсем уже напоминает «шлемовеющего Гектора с медноострым копьем».

Непонятно, почему поэт нашего времени должен обегать сложные слова. Маяковский сызнова заставил работать и этот архаизм.

7

Перейдем к синтаксису Маяковского. Синтаксис его дает достаточно особенностей, чтобы сблизить поэтику Маяковского и в этой области с древнерусской поэтикой.

Это, во-первых, кидающееся в глаза **беспредложие** в целом ряде случаев. Это ощущается как неологизм. Однако это есть виднейшая особенность древнерусского синтаксиса.

Был, например, так называемый дательный цели, включавший в себя и дательный места. Он употреблялся без предлога.

«После сына своего Мстислава Кыеву» (Ипатьевский список летописи под 1069 г.) — вместо «к Киеву» или «в Киев». Это древнейшая форма. Уже в XV веке беспредложный дательный места, отвечающий на вопрос «куда», заменяется винительным падежом с предлогом: «в Киев».

В Остромировом Евангелии (XI век) читаем: «Доньдеже положу врагы твоя подьножие ногами твоима» (вместо к подножию).

У Маяковского даже и слово то же самое, *«подножие»,* и взято в том же самом беспредложном дательном места: «это я, Маяковский, *подножию* идола нес обезглавленного младенца» («Война и мир»).

Или еще — о Наполеоне: «Он раз *чуме* приблизился троном» (вместо «к чуме»).

Дательный беспредложный цели дан в «Слове о полку Игореве»: «Избивая гуси и лебеди завтроку, обеду и ужине».

Здесь, попутно, укажу еще на одно замечательное сходство между «Словом о полку Игореве» и поэмами-ораториями Маяковского, помимо метрической архитектоники и диалектического развития повествования, с частыми лирико-патетическими отступлениями.

В «Слове о полку Игореве» есть одно место, которое мне удалось возвратить к его истинному поэтическому смыслу, тогда как до сих пор оно толковалось буквально.

Про Игоря, потерпевшего поражение, сказано с укоризной:

> русского злата насыпаша.

Конечно, ни о каком прямом «золоте русском» здесь и речи не может быть. Игорь и его русичи никакого «русского золота» с собою в поход не брали: напротив, после первой победы они половецким золотом обогатились, захватив богатые трофеи.

> Помчаша красные девкы Половецкыя,
> а с ними злато и паволоки
> и драгыя оксамиты...

Что же это означает — «русского злата насыпаша»? А это означает: русского народу погубили (множество). Ибо «русское злато» есть не что иное, как поэтическое уподобление русской дружины Игоря, которая легла костьми в битве, а частью была потоплена. Золотистый, русый цвет волос русских воинов, не-

сомненно, послужил автору «Слова о полку Игореве» для уподобления золоту.

Это не произвольное измышление! Древнерусский словарь прямо подтверждает это: церковнославянское и древнерусское *«насыпати»* означало применительно к жизни, к человеку — умереть, погибнуть (см. «Материалы для словаря древнерусского языка» акад. Изм. Ив. Срезневского).

А вот и пример из Иоанна экзарха Болгарского (X век): «Вьстань всяко есть соньм души же и плоти, и второе *насыпавшууся* и падшему *животу статие»* (Калайдович, 44). В переводе конец фразы означает: «Второе погибшей («насыпавшейся») жизни восстание (воскресение)».

Поэтическое уподобление славян-воинов золоту по их русому золотистому цвету волос находим и у Маяковского в поэме «Война и мир»:

Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна...

Я склонен думать, что Маяковский раскрыл, о каком «насыпанном русском золоте» идет речь в «Слове о полку Игореве».

Здесь, кстати, отметим, что в ранних изданиях Маяковского стоит усеченная форма прилагательного «непроглядные», а именно:

Негров непроглядны пятна

Что именно так и следует читать, за это говорит самый ритм.

Свойственные древнему русскому языку, а также «просторечию» усеченные формы прилагательных применялись Маяковским: *«негров непроглядны пятна», «сила наша исполинска», «белы страны», «послушай, златолобо»* (солнце); *горяч и лихорадочен», «бездыхан и угловат»* и т. д.

Как видим, краткая форма прилагательного употребляется не всегда в форме сказуемого.

Вернемся к беспредложному употреблению имен существительных в поэтике Маяковского.

В двух случаях отмечаю у него опускание предлога «с» при творительном падеже: 1. «Среди тонконогих, жидких кровью, трудом (вместо с трудом) поворачивая шею бычью». 2. «Этот, выколотыми глазами (вместо с выколотыми) пленник».

Беспредложное употребление дательного падежа вместо родительного, так называемый «дательный предмета» и «дательный лица»,— в большом ходу у Маяковского, а также, конечно, и в древнерусской поэтике — и по сей день в просторечии.

Они придают какую-то наивность синтаксису.

Маяковский неоднократно также применяет и дательный падеж причастия в особой древнерусской (в церковнославянской) усеченной форме.

В «Слове о полку Игореве»:

Луце ж бы *потяту быти,* неже
полонену быти.

У Маяковского:

Быть
Керенскому
биту и ободрану.

Или:

...ушку девическому...
не разалеться, *тронуту.*

Эта на редкость энергичная и изящная форма, конечно, должна быть восстановлена в нашем литературном языке, вопреки его «аргусам», преследующим «архаизмы» и «просторечие».

Русский народ любит эту форму: *«бранью праву не быть».* Ее любил Иван Петрович Павлов, непревзойденный знаток родного языка: «И вам придется, сударь, быть биту!» — говаривал великий физиолог.

Почти полвека идут бурные перемещения многомиллионных масс по неизмеримым просторам нашей родины.

Боец, уроженец Камчатки, целые годы провел где-либо в Белоруссии или на Украине, украинец и белорус годами живет и окореняется где-либо в Архангельской или Олонецкой области, то есть в одном из гнездовьев древнего русского языка, где этот древний язык и поныне — живой язык народа, где уцелел и где доселе записывается собирателями Киевский цикл былин.

В горниле войн и революций вот уж полвека идет бурная и стремительная, как никогда прежде, исполинская переплавка русского языка.

Пресловутое «переселение народов» меркнет по масштабам перед тем передвижением миллионов, которое произошло в нашей стране.

Но еще и до первой войны с Германией, в капиталистической России, миллионы пролетариев и безземельных крестьян-переселенцев, под давлением экономической нужды, зачастую, начав жизнь где-либо на Украине или в Тамбовской губернии, затем навеки со своими детьми и внуками переселялись в Тур-

кестан, в Казахстан, в Сибирь и на Амур, на Сахалин, в Забайкалье.

Областные языковые различия стирались.

В наши дни уже и Карпаты и Дунай — обиталище Древней Руси — вовлечены в это небывалое движение народных многомиллионных масс.

Советский воин и партизан-серб во многом понимали друг друга и без переводчика.

Это событие такого порядка, таких далеко идущих последствий для судеб языка, которым «разговаривал Ленин», что нельзя не указать на грандиозность предстоящих сдвигов в языке, а следовательно, и в литературе.

И «украинизмы», и «белорусизмы», и «карпаторусизмы», и даже «сербизмы» и «чехизмы» войдут, вероятно, в творимый новый язык. Но и языки братских народов — и, конечно, литературный язык их — не минуют притока «русизмов».

Величие и мощь русского языка, его всеотзывность, всепроникновенность, неисчерпаемая многовидность и разнозвучность воспеты Ломоносовым в его бессмертном дифирамбе, заучиваемом наизусть в наших школах:

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятельми, итальянским с женским полом говорить прилично. Но есть ли бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков...»

Поэтическое мастерство словотворчества лучших советских писателей и поэтов — от Маяковского и Горького до Шолохова, Леонова и многих других — наглядно убеждает нас, читателей, в неиссякаемой глубине, выразительности и богатстве русского народного языка.

О МНИМОЙ СТИЛИСТИКЕ

Нигде нет столько разнобоя и противоречий, как в суждениях о том, что такое стиль и что такое стилистика. Мне кажется, это произошло оттого, что неимоверно расширились оба эти

понятия: тут и история литературы, тут и искусствоведение, тут даже и психология с патофизиологией мозга!

У нас полюбили говорить, что слово, дескать, есть «материал», «материя», «форма» или «оболочка» мысли, идеи. При этом подвергается забвению та марксистская истина, что слово и мысль — это нерасторжимое единство. Нет, слово не «материал», а сама мысль, сама идея и есть. Мрамор, краски — иное дело: то — материал!

Не скрывая, что я являюсь сторонником *лингвистического*, чисто языкового понимания стилистики, осмелюсь предложить и свое определение этих понятий.

Стиль — это словарь и речестрой. И ничего более!

Стилистика — это учение об изобразительных силах *слова и предложения*. И ничего более!

Наука подлинная всегда являет нам *законы* или *закономерности*. А где они в современной стилистике?! Чисто *описательная* область человеческих сведений, сколь угодно полезных, не может претендовать на название «наука» или даже — «учение» (как часть науки). Иначе мы и филателию назовем наукой, против чего, конечно, не станут возражать собиратели марок. Если стилистика уже успела стать наукой, то предъявите нам законы или закономерности! Но разве можно этого ожидать, если даже выдающийся представитель современного языкознания акад. В. В. Виноградов в своей статье «Заметки о стилистике современной советской литературы» применяет как заведомо ясные термины столь многосложные, спорные и даже расплывчатые понятия, как «осколки ложноклассицизма», «отголоски сентиментализма», да еще «с мещанским привкусом», «мутные потоки натурализма» и, наконец,— «быстрые ручьи модернизма». Общеизвестно, что любое из этих понятий породило горы дискуссионной литературы. И, однако, академик Виноградов, не обинуясь, именует их «стилями». «Некоторые из этих литературных стилей советской литературы явно уводят в сторону от реализма»,— пишет он. Стало быть, если стилистика, как многие определяют ее, есть учение о стилях, то выходит, что она есть учение о... классицизме, о ложноклассицизме, о романтизме, о натурализме, да еще и о реализме: поелику это все суть стили. Но тогда что же такое *история* литературы? И зачем было в таких многолетних боях и муках создавать новую якобы науку — стилистику?!

— Хорошо. А что же дает ваше определение?

А тó, что при этом мы и закономерности, и законы самого языка кладем в основание. Ибо словарь и речестрой националь-

ного языка являют нам эти законы и закономерности на каждом шагу: в «мелочишке суффиксов и флексий, в... кассе склонений и спряжений», по выражению Маяковского.

И, подобно тому как сделано это было на примере присоединительной связи «А», можно почти наугад взять любое, самое заурядное явление народного языка.

Например, словоуправление предлога — *между, меж.* Если мы пишем о пребывании, о состоянии, то язык наш властно требует здесь *творительного* падежа: «В прохладе *меж двумя холмами таился* монастырь святой». Но после того же самого предлога, если речь идет о направленном движении, то более в духе языка будет падеж *родительный*: «Речка *течет* между гор». Но, оказывается, возможен при этом предлоге еще и *винительный,* если хочешь означить *окончательное* направление и движение, для покоя там: «Запусти пальцы меж пальцы» (Даль).

Разве это не закономерность? И разве это не предмет стилистики, завершающей грамматику?

Нормативная лексикография — пережиток.

Все, вероятно, помнят, как Сенковский — что и говорить, лингвист большого ранга! — яростно нападал на местоимения *сей* и *оный,* а Пушкин, возмущенный этими нападками, назло Сенковскому стал даже без нужды учащать эти оба местоимения.

И еще мне вспомнилось. Тот же Сенковский вздумал уличать Дениса Давыдова в погрешностях против русского языка. Силы, казалось бы, столкнулись неравные: как языковед, как грамматист что́ такое Давыдов перед Сенковским, чье ученое имя даже и доселе чтится лингвистами! Однако тот, кого мы привыкли называть основоположником русского литературного языка, заведомо принял сторону поэта Дениса Давыдова: «Сенковскому учить тебя русскому языку — все равно, что евнуху учить Потемкина»,— пишет Пушкин Давыдову.

И это не потому сказано столь решительно, что Пушкин ненавидел ученого лингвиста, омрачившего свое имя в качестве Барона Брамбеуса, и, напротив, благоволил к Денису Давыдову. Нет, не потому! Пушкин хорошо знал ту истину, которую признавали и ученейшие из наших языковедов, а именно то, что неискушенное языковое сознание сплошь да рядом куда вернее, тоньше, дерзновеннее и более в духе языка способно управиться и со словарем своего народа, и речестроем,

чем иной, даже исполненный учености аналитик языка. Знатоку языка незачем это и доказывать. Достаточно напомнить хотя бы «Причитания Северного края», собранные Барсовым, Афанасьевское собрание русских народных сказок или «Великорусские народные песни», изданные А. И. Соболевским. Сколько почерпнет там каждый великолепнейших, изящнейших образцов русской речи на всех ее высотах, во всех житейских применениях! А «Пословицы русского народа», собранные Далем?! О, какую еще грамматику русского языка можно написать, опираясь на эту сокровищницу! Лермонтов и одною «Песней про купца Калашникова» обессмертил бы свое имя. Но разве можно забывать, что и словарь, и речестрой, и самый склад и лад этой великой трагической поэмы Лермонтова взяты у народа, что родниками устной народной словесности напоено это дивное творение?!

Мы утверждали и утверждаем: весь язык русского народа литературен. Понимать это следует так: одна его половина — осуществленно литературная, а другая — потенциально литературная. Одна — успевшая вокнижиться, а другая — нет.

Считаю неоспоримым следующее историческое обстоятельство: так называемые литературные нормы русского языка, и ныне действующие (вернее, злодействующие),— они установлены были «сверху», в императорской России. Это — **классовые** нормы.

К счастью, неотвратимым ходом исторического развития речевая стихия многомиллионных трудовых масс, стихия так называемого просторечия, с каждым годом все больше и больше размывала перемычки и дамбы, назначение коих было отгородить на вечные времена язык образованного, «благородного» общества от языка «черни».

Было бы, однако, ошибкой считать, что демократизация литературного языка совершалась в итоге обезличенно-стихийного процесса. Нет! Пушкин боролся за эту демократизацию не только как творец-художник, но и как лингвист-теоретик. Нет нужды напоминать его всем известные споры с «бутырскими критиками» — с группой «Северной пчелы» и «Вестника Европы». Об этой многолетней и яростной борьбе, как о борьбе исполина, говорит с чувством преклонения Белинский:

«Господа! Не пора ли бросить эту старую замашку?.. У какого писателя нет ошибок против грамматики — да только

чьей — вот вопрос! Карамзин сам был грамматика, перед которой все ваши грамматики ничего не значат. Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик».

Мне особо хочется подчеркнуть здесь слова: *«Ошибок против грамматики — да только чьей* — вот вопрос!» Ибо и до сих пор противники наших воззрений на современный русский язык не устают усердно извращать эти наши воззрения: якобы кто-то хочет посеять раздор между писателями и грамматикой, ославить грамматику. А между тем утверждение наше совсем иное. Оно гласит: современные школьные грамматики далеко не с должной полнотою отражают реальную действительность современного русского языка. Писателю и поэту лучше опираться на грамматику академическую, а не на школьную. Тут большая разница, и даже очень большая! Знаменательно, что большие наши грамматисты придирками к языку писателя и дотошным «запретительством» никогда не занимались.

Да ведь, к слову сказать, Белинский сам был автором «Оснований русской грамматики». Значит, не был он человеком посторонним, когда властно вмешивался в споры и столкновения писателей своего времени с «грамматоедами, пуристами и корректорами». И взгляды его в этой области поражают своей неустарелостью. Будто сейчас вот сказано каким-либо ведущим языковедом нашего времени! Взять для примера хотя бы слово его в защиту **употребления,** когда оно вступает в спор с грамматикой: «Шишков не понимал, что кроме духа, постоянных правил, у языка есть еще и прихоти, которым смешно противиться; он не понимал, что употребление имеет права, совершенно равные с грамматикой, и нередко побеждает ее, вопреки всякой разумной очевидности» (разрядка моя.— *А. Ю.).*

Иные могут сказать, что, мол, это время прошло, тогда, мол, действительно в грамматике русской было немало спорного и условного, а теперь, когда минуло свыше ста лет, когда грамматика наша стоит на незыблемых научных основаниях,— какие же могут быть споры и расхождения между грамматикой и употреблением или между грамматикой и писателями?

А вот сопоставим! Пушкин, возражая критикам языка и стиля «Евгения Онегина», бросил им суровый и справедливый довод: «Грамматика наша еще не пояснена».

И что же? Прошло свыше ста лет, и один из основоположников современной русской грамматики, советский ученый,

академик В. В. Виноградов свое «Введение в грамматическое учение о слове» начал тем же самым признанием:

«...В грамматике современного русского языка разногласий и противоречий больше, чем во всякой другой науке... Грамматический строй русского языка плохо изучен» (разрядка моя.— *А. Ю.).*

Труд этот издан в 1947 году. Пушкин свои слова о грамматике написал в 1830 году.

Значит ли это, что русские лингвисты-грамматисты и лексикографы худо работали? Нет, отнюдь! Целым созвездием ученых имен всегда будет гордиться русское языкознание.

Причина именно в том, что русский язык — это поистине «едва пределы имеющее море», как справедливо о нем сказал Ломоносов. От необъятности задачи и неполнота ее исполнения! А затем есть и другая причина; о ней прямо говорят классики нашей грамматической науки: слишком долго, гораздо более ста лет, русские грамматисты принимали как незыблемый, священный завет «мертвящее начало» грамматики Готшеда и Аделунга, созданной на изучении языков мертвых; в силу этого родной язык, живое слово, «вечно юное и неистощимо богатое» в его видоизменениях исторических и местных, оставалось не только вне поля внимания грамматистов, но и объявлялось одной сплошной «неправильностью», «мужланством», «простонародным языком», «просторечием» и т. д. и т. д.

И если Ф. И. Буслаеву принадлежит заслуга первенства в том, что он смело и с полной научностью обратил внимание русских грамматистов именно к живому, речевому слову, восстал против «мертвящего начала», то о советских грамматистах можно сказать, что они достойнейшим образом продолжают эту оздоровительную работу в литературном русском языке. Так, академик В. В. Виноградов, уже цитированный мною, указав, что главнейшие изъяны русской грамматической науки относятся главным образом к учению о слове и предложении, особо и многократно подчеркивает, что для построения «грамматической системы современного русского языка», для того чтобы преодолеть «причину блужданий современной грамматики», необходимо «шире привлекать свежие факты живого языка».

С представителями *такой* грамматики у нас спора нет. Спор с последователями Греча, Каченовского и Барона Брамбеуса, каковых еще много.

В самом деле. Если Гоголь пишет: «Плачем горю *не пособишь,* нужно дело делать», если Лев Толстой (конечно, также

в авторской речи!) не считает зазорным написать: «Степан Аркадьич... написал ей записочку к лицу, которое могло ей *пособить»;* или: «Старый князь хвалил их... когда они приезжали в Лысые Горы *подсоблять* уборке»; или: «Разговоры с людьми... не могущими *пособить* ему»,— если, короче говоря, я буквально забросать могу возражателей примерами употребления глагола «пособлять» русскими классиками в авторской речи, а какой-либо кандидат лингвистических наук продолжает мне упорно твердить, что это слово, дескать, «нелитературное», то могу я его... считать преемником Барона Брамбеуса? Думаю, что да.

Когда же эти люди поймут наконец, что русский язык одним из высоких своих отличий и преимуществ считает как раз обилие свобод, широту выбора, факультативность в употреблении различных грамматических и лексических форм одного и того же смысла, различных ударений!

«Он проспал до полдён», «Он проспал до полудни», «Он проспал до пóлдня» — одинаково правильно. И чтó мне, писателю или поэту, по душе, то я и возьму. И не мешайте нам!

У нас даже такой, казалось бы, просвещенный орган в литературе, как «Литературная газета», с поразительной готовностью печатает иные письма-окрики, где какой-либо мало знающий свойства русского языка читатель требует, чтобы Академия наук твердо решила наконец, как следует писать и говорить: высокó или вы́соко? Далекó или далéко и т. р.

А русская песня словно с вызовом бросает «унификатору»:

И вы́соко и далёко,
Высокó и далекó!

Ревнуя о языке русском, опекая его правильность и чистоту, литератор Бобович на страницах «Литературной газеты» сурово назидает молодых поэтов сборника «Первый полет», обвиняя их в неграмотности, в «беспечном отношении к слову», и предлагает им писать «вполне грамотно».

При этом, как принято, даны и примеры:

«В стихах А. Пахомова встретился мне такой ребус:

Бьет метель в лицо,
                    в колени.
И хоть в шубе, но
                    знобит...

Метель в шубе? Кого знобит?» — язвительно недоумевает «опекун».

Но ведь здесь все грамотно и вполне по-русски. В языке русском существуют, видите ли, и с незапамятных времен, особые, так называемые безличные обороты. Одни из них выражают явления природы — *светает, моросит, подморозило,* и, представьте себе, еще никому в голову не приходило спросить: «Кого подморозило?» Другие же безличные обороты относятся к телесному или душевному состоянию человека: *лихорадит, знобит* и т. п. И хотя формально это суть глаголы в третьем лице единственного числа, но слова эти не означают действие *кого*-либо над *кем*-то, а именно, состояние. Их можно иной раз употребить и с дополнением, но и без него. То есть эти глаголы состояния, ощущения могут быть и «переходными», и «непереходными».

Таким образом, строка поэта: «И хоть в шубе, но знобит» — совершенно в духе русского языка, каждому понятна, и попрекать здесь не за что. Что же касается «метели»: будто бы это она оказывается у поэта «в шубе», так ведь оная «метель» притянута рецензентом из **предшествующего** предложения и строки. Явственная для всех **точка** отделяет одну строку от другой. Смахнуть ее можно только... ради злого вышучивания.

Поневоле приходится затронуть и второй пример якобы неграмотности поэтов сборника. Атакованная строка даже использована для заголовка «реплики»: **«Для полного сгорания меня».** В самом деле, допустимо ли такое выражение? Некоторое ощущение грамматической необычности, неловкости может здесь возникнуть. Однако разберемся. Мне думается, что сомнение здесь рождается вот по какой причине: глагол *сгорать — среднего* залога. Сгорать *что*-либо, или *кого*-либо, конечно, нельзя. А тут — «сгорание меня»! Но одно дело — самый глагол «сгорать», а иное дело произведенное от него существительное. Давно уже в языковом обиходе, житейском и научном, обращаются выражения: *«сгорание веществ* в организме», *«сгораемость»* и *«несгораемость»*, так почему же «сгорание меня» объявлять ужасающей безграмотностью?! Русский язык отличается удивительной свободой перехода глаголов из одного залога в другой. Об этом чудесно сказано в «Исторической грамматике» Буслаева и дано множество ярких примеров. Любопытен пример из Жуковского,— а уж пурист был! — *«Помогаемый сыном».* Мы не объявляем *«неграмотным»* выражение «несгораемый сейф», а уж что криминального в выражении «сгорание меня»?

Автор «реплики» ужасается не только почудившейся ему «неграмотностью» молодых поэтов, но его явно «шокирует» соседство творений Блока... с мазуркой. Речь идет о строфе поэта Парфентьева:

Как Блок,
Писавший на манер
мазурки,
Я вальс возьму —
Он мягче и круглей.

Приведя эти строки, автор ставит гневную «восклицательную» и «вопросительную», как выражались в старину. А вот сам Блок нисколько не считал для себя зазорным признаться в том, что его гениальная и трагическая поэма «Возмездие» и впрямь пронизана, да еще и «вся», по его собственному выражению, «лейтмотивом мазурки»:

«Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом «возмездия»; этот **лейтмотив** есть **мазурка** (подчеркнуто самим Блоком.— *А. Ю.*), танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, русских и парижских балах».

В предисловии к «Возмездию» Блок настойчиво указывает на глубокую связь своей поэмы с мазуркой.

Так чем же, спрашивается, провинился Парфентьев?

Вот, в сущности, и все «прегрешения» коллектива начинающих поэтов. Кстати сказать, все они, как на подбор, парни с великих строек, из колхозов, иные — из армии, а главное — с большими задатками дарования.

Запретительство — болезнь широко распространенная. Иной раз и поэт поднимается на другого поэта, уличая его всенародно в незнании русского языка, а между тем единственное вооружение обличителя — его собственное незнание. Вот поистине анекдотический случай. Московский поэт-песенник Лисянский выступил однажды с обзором творчества «областных» поэтов. Дошел черед в обзоре и до Александра Елькина, поэта-туляка. Елькин — автор ряда сборников, человек большого рабочего и фронтового пути. А это обстоятельство ведь и на языке поэта отражается благотворно! Однако рецензенту попалась на глаза форма «кабанки́». И вот этого одного обстоятельства оказалось Лисянскому довольно, чтобы произнести над другим поэтом тяжкий приговор, будто он вообще плохо знает русский язык! Не верится? Вот вам выдержка: «А что означает *«кабанки»*? Если ласкательное от *«кабаны»*, то следовало сказать *«ка-*

банчики». Вообще с русским языком А. Елькин не в ладу». С больной головы да на здоровую!

Марку Лисянскому невдомек, что оба суффукса — и *ок* и *ик* — вполне равноправны: когда какой, это уж относится к расчету и выбору говорящего. Русский язык имеет «парные формы»: роток — ротик; гвоздок — гвоздик; глазок — глазик и т. д. Замечу попутно, что суффикс *«чик»* рассматривается как ветвь суффикса *«ик»*. Об этом хорошо сказано у одного из основоположников русской грамматики — Константина Аксакова в «Опыте русской грамматики»: «В именах мужского рода уменьшительные *ок* и *ик* совершенно одинакового значения, но там, где встречаются оба окончания, есть оттенок. Тогда окончание на *ок* выражает просто уменьшенный вид предмета, между тем как в *окончании* на *ик* слышится уже шутка и если еще не ласка, то *любезность*... видно, что уменьшительный, миниатюрный предмет представляется *милым»*.

Единственное, в чем, стало быть, можно было упрекнуть А. Елькина,— это в том, что он почему-то не питает нежных чувств к данному животному. Но зачем навязывать поэту чувства, которых он не испытывает?

Гонение на воображаемые неправильности, на грамматические *«двоякости»* и даже *«троякости»* языка вообще стало чуть ли не в порядке вещей.

Вот еще подлинный случай.

Редактор вычеркивает форму *«плечей»* и требует «плеч». А между тем у Бунина (который знал-таки русский язык!): «Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть *плечей...»*, или: «И удивительный золотистый цвет лица, *плечей...»*

...Припоминается, как за обедом в усадьбе Вронского все общество, а в том числе и Анна, высмеивают Весловского, типичного аристократа-дармоеда, за его беззаботное незнание языка строителей.

«— Да ну скажите, Весловский, чем соединяют камни?

— Разумеется, цементом.

— Браво! А что такое цемент?

— Так, вроде размазни... нет, замазки,— возбуждая общий хохот, сказал Весловский».

Среди писателей советской эпохи не должно быть весловских!

Маяковский, который чуть не сплошь «просторечен», властно рвет, как серпантин, опутавший ноги, все «нормировочные» запреты,— Маяковский гениально и многократно показал, что даже «вульгаризмы» могут служить поэту для выражения и

возвышенно-трагического, и самых неизъяснимых в своей тонкости, нежности чувств сердца. О *гибели Пушкина* говорится, и, однако:

Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.

Маяковский — замечательнейший пример *воссоединения* всех пластов и разрядов народного словаря. Он явился великаном, ниспровергнувшим «нормативную лексикографию». У него просторечие, вульгаризмы изумительно работают в прямом соседстве с архаизмами. Он любит и этот разряд русских слов.

Архаизмы! «Ах, зачем он употребляет эти архаизмы и славянизмы?» Многое, очень многое можно бы сказать в ответ на эти попреки.

Однако легко привести примеры, когда ради «речевого портрета», ради комизма, гротеска писатель вкладывает в уста какого-либо действующего лица слова и словечки или явно жаргонные, или диалектно искаженные в фонетическом отношении, наконец бранные, и вряд ли кому-либо в голову придет «обогащать» литературный язык за счет таких слов. Но разве об этом речь?!

Здесь, кстати, следует заметить, что среди «блюстителей» чрезвычайно сильна привычка злоупотреблять словами Горького о «балахонском наречии».

Но к существу нашего спора о просторечии, о его великих красотах, о первичности устноречевой стихии, о ее неизмеримых силах, о закоснелых и ветхих нормах вопрос о фонетических диалектных искажениях отношения не имеет.

Что же касается частностей, то, несмотря на решительное и даже сердитое осуждение Алексеем Максимовичем слова «скукожиться», у Маяковского оно есть и выражает именно тó, что хотел выразить поэт: «любовь поцветет, поцветет и скукожится».

Мне кажется, что диалектные отличия в едином русском языке иными исследователями непомерно раздуваются. Это уже микроотличия. И речь идет лишь о фонетической, произносительной разнице и о каком-то небольшом количестве местных, областных слов, которые еще не переплавились в исполинской

домне единого русского языка и судьба которых еще не определилась.

Несколько десятков лет назад и слово «земляника» было областным!

В этом вопросе я убежденный сторонник ломоносовско-далевской точки зрения, которую разделяли и великие наши грамматисты Буслаев и Шахматов.

Даль говорил писателям, что, очистив данное русское слово от фонетического искажения, свойственного данной области, они смело могут ставить в свое произведение любое русское слово. Исключений будет немного, добавлял он.

Наряду со словом общенародным *брюква* В. И. Даль привел в словаре и безнадежно местные, областные наименования сего корнеплода, как-то: калига, бушма, желтуха, земленуха и т. д. Никто из классиков этими наименованиями не пользовался. Никто из современных писателей в них тоже нужды не имеет, эти слова не вошли во всеобщее употребление. В. И. Даль и сам высказался по этому вопросу с полной ясностью:

«Я, впрочем, никогда и нигде не одобрял безусловно всего, без различия, что обязан был включить в словарь: **выбор принадлежит писателю».**

Вот за это, подчеркнутое мною,— выбор принадлежит писателю,— боремся и мы.

В журнале «Вопросы литературы» в статье «Через жизнь к слову» П. Пустовойт не обинуясь обвинял меня в том, будто я хочу столкнуть «индивидуальное писательское употребление» с нормативной грамматикой. Речь шла о деепричастиях типа *пиша, рвя, пекя, стригя, мня, жня* и т. п.:

«Обнаружив у русских классиков XIX века (например, у Пушкина, Л. Толстого) форму деепричастия «пиша», у Маяковского — «жря» и «спя», что в индивидуальном писательском употреблении было вполне допустимым, А. Югов считал возможным и сейчас разнообразить язык за счет деепричастий типа «стригя», «берегя», «секя». А так как нормативная грамматика этому противится, А. Югов критикует ее (в данном случае «Грамматику русского языка под редакцией Л. В. Щербы»)».

Здесь все неверно!

Действительно, в школьной грамматике для 5—6-х классов такие деепричастия безоговорочно запрещены, вернее, отрица-

ется даже самая возможность их образования: **«нельзя»,**— написано, и крышка: «От некоторых глаголов совсем нельзя образовать деепричастия несовершенного вида: *стричь, беречь, сечь, писать*».

Такой запрет есть ошибка. Делать его достоянием **нормативной** грамматики нельзя. Виднейшие авторитеты современной русской грамматики говорят прямо противоположное. Раскройте известный труд академика В. В. Виноградова «Русский язык (Грамматическое учение о слове)» на стр. 385 и прочтите:

«Академик С. П. Обнорский считал на свой слух вполне возможным деепричастия *рвя, пекя, стригя, мня, жня* и т. д.» («Известия Отделения русского языка и словесности», 1916/XXI, кн. I, стр. 334).

Пиша (деепричастие) запросто употреблялось едва ли не всеми классиками, да и лингвистами (например, Буслаевым).

Так бы и следовало говорить школьникам: это, мол, дело выбора: одни советуют избегать таких форм, а другие «на свой слух» считают вполне возможным. Значит, если Л. Толстой и В. Маяковский применяли вышереченные деепричастия, то они отнюдь грамматики русского языка не нарушали.

Важным доказательством моего тяготения к архаизмам. П. Пустовойт счел выписку из моего романа «Бессмертие» одного слова «овидь» вместо «горизонт» и трех слов из исторического романа «Ратоборцы» (XIII век!). Можно бы попросту с горькой усмешкой пройти мимо этого странного выпада: ведь уж и школьники знают нынче, что слово, вырванное из контекста, не принято использовать как доказательство. Надлежит давать по крайней мере целое, осмысленное предложение, и тогда каждый сможет судить, верен ли художественный расчет писателя. Хочу представить Пустовойту еще одного «архаиста» — Сергея Есенина. У него есть даже, страшно молвить, наречие «зане́», да еще в соседстве с такими словечками, как «богема»!

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпическою темой...

И ведь это Есенин последних лет!..

И зачем не было нашего критика возле Льва Толстого, чтобы удержать старика от чудовищного архаизма, да еще где? В «Анне Карениной»! В самом деле, вот в начале XII века лето-

писец пишет: «Михалка князя udариша ратнии двема копьи в *стегно*» — и через семьсот лет русский писатель повторяет это слово:

«И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев *стёгна* и голени в узких рейтузах».

Рейтузы и... стёгна!

Но уж чтобы покончить раз и навсегда с нерасчетливым гонением на так называемые архаизмы, я позволю себе также риторический вопрос: как можно проходить мимо изумительных и прямых высказываний Алексея Николаевича Толстого как раз по этому предмету:

«В самом начале Февральской революции я обратился к теме Петра Великого... Историк В. В. Каллаш познакомил меня с архивами и записями Тайной канцелярии («Слово и дело»). *Во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылась тогда предо мной сокровищница русского языка...»*

И в другом месте:

«Я увидел, почувствовал,— осязал русский язык... я видел во всей чистоте русский язык...»

Какие мыслители останавливались благоговейно перед могучей святыней языка, вечно живого, океанически необъятного и все еще не познанного в своих бездонных многовековых глубинах! И единого слова, единого живого речения боязно было им тронуть; и не только себя самих, но и целое учреждение не считали они правомочными «чистить» русский язык.

Главная беда «поборников чистоты» русского языка состоит в том, что они не отличают *законы* языка *от правил* языка. Законы языка — долговеки; они определяют существенные его свойства. Правила обычно извлекаются (и до сих пор!) из практики литературного языка. Многие правила — преходящи. Греч устанавливал одни; Буслаев, Шахматов — другие. И вот что самое главное: правила могут быть неверны, ошибочны, могут даже вступать в противоречие с законами; завтрашнее развитие русского языкознания может отменить сегодняшние правила.

Когда я слышу звуки набата, которыми сзывают «всю громаду» спасать «от порчи и погибели» русский язык; когда печатают списки слов, именуемых «скверной»,— то я спрашиваю себя: неужели же эти «знатоки» языка и литературы воображают, что выступают с чем-то новым?

Да ведь это же — через сто с лишним лет снова трясти ветошью господина Шевырева,— вот что означают все эти «спис-

ки правильных и неправильных слов». И посмеялся же тогда над этой вредной затеей Н. Г. Чернышевский, этот не только великий мыслитель и революционер, но и выдающийся лингвист, что́ очень и очень существенно в данном случае.

Напомню. И лучше всего — словами самого Чернышевского:

«...Погибель русской литературы предстояла в наискорейшем времени от порчи языка в петербургских журналах неправильными и чудовищными выражениями. Г-н Шевырев был так возмущен этой страшной опасностью, что решился для спасения русского языка составлять и печатать в «Москвитянине» (1848, № 1, 2) словарь «барбаризмов, солецизмов и прочих измов». Необходимость и пользу его он объясняет следующим образом: «С некоторых пор русский язык до того начал страдать от нововведений, что становится и больно и страшно за родное слово всякому, кто его любит и уважает». Для противодействия этой погибели родного слова он обещается «постоянно выдавать словарь всех чудовищных выражений, которыми так особенно богата наша периодическая словесность». Этот словарь принесет пользу литературе, «производя в публике тот комический хохот, который будет весьма спасителен для русского слова». Обещание «выдавать постоянно» столь полезный труд, конечно, не состоялось: за первым, довольно большим отрывком явился в следующей книжке «Москвитянина» второй, гораздо меньший отрывок словаря. Тем дело и кончилось».

Бережение народного языка, способствование к развитию всех его *самобытных* сил и возможностей, которые еще не успели воплотиться под пером писателей, поэтов, ученых,— это великая всенародная забота, и здесь поразительное единодушие нашли мы среди классиков и русской литературы и русской науки.

«Я не с точки зрения шовинизма или квасного патриотизма боюсь за язык,— писал Гончаров,— и, конечно, буду рад через десять тысяч лет говорить одним языком со всеми, и если буду писать, то иметь читателями весь земной шар.

Но все же и думаю, все народы должны прийти к этому общему идеалу человеческого конечного здания — через национальность, то есть каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал».

В одном из учебников стилистики я встретил утверждение, что задачей этой науки является будто бы изучение изобрази-

тельной роли переносных (метафорических) значений в языке. Такое определение показалось мне явной подменой целого частью: механика — это физика, конечно, но физика вовсе не сводится только к одной механике.

Да и разве каждый из нас не может припомнить целые отрывки, где никаких метафор, или же она сверкнет лишь редко-редко, а между тем художественность бесспорная?

Вот я приведу сейчас несколько «безметафорных» образчиков. Портретное: «Излыса-кудреватый, небольшого роста мужчина». Или: «Худощавый старик, с кривым лицом, в берете набекрень». «Плаксиво-вкрадчивый голос». «Дородная и красивая». А вот описание, в котором метафора отнюдь не главное средство изобразительности: «С каждым днем в рощах делается все светлее и светлее. Опавший лист шумит под ногами. Летние птицы отлетели, зимние сбились в стаи. Заяц начал белеть. Около дома появились первые зимние гостьи — синички... С полей давно уже убрались. Лошадям приволье — бродят неспутанные, где хотят».

Всякая наука должна прежде всего иметь свое собственное определение, осознать свой круг предметов, свою цель. А этого нет! Разнобой определений. Путаница и разноречие!

Возьмем, кажется, единственный у нас университетский учебник стилистики А. И. Ефимова — «Стилистика художественной речи». Учащийся немало почерпнет здесь хотя бы из огромного обзора суждений великих писателей о русском языке и о писательском искусстве. Но вот что бросается в глаза: все, решительно все приведенные из классиков выдержки толкают к выводам о высоком значении просторечия, о свободе писателя в выборе языковых средств, но автор учебника как-то ухитряется делать иные выводы, загипнотизированный «заветами» нормативной лексикографии. В конечном счете с грустью видишь сведение стилистики опять к разрядам слов, разбитых на всевозможные «измы»: архаизмы, славянизмы, профессионализмы и т. д. И, конечно, автор учебника счел нужным осудить «просторечие». А между тем не смог даже определить, что́ это такое. Ибо разве это определение: «Под просторечием разумеются весьма разнообразные речевые средства, остающиеся *за пределами литературного языка»?* (Курсив мой.— *А. Ю.*) Но ведь это же не раскрытие сущности: сегодня — за пределами, а завтра — в пределах! Ведь и сам автор вспоминает слова В. Гюго: «Язык колеблется от царственного шествия великих писателей». Надо ли доказывать, что после Карамзина, Пушкина, Крылова, Л. Н. Толстого и Маяковского пределы литератур-

ного языка становились всякий раз не те? Но что же все-таки есть «просторечие»? По существу, ответа нет. А вот, по академику В. В. Виноградову, просторечие — это «собирательное имя фамильярных стилей национально-бытовой речи». Однако трудно согласиться с В. В. Виноградовым, что в «Станционном смотрителе» Пушкин, заменив «кто с ними *не бранился»* на более точное, многократное «кто с ними *не бранивался»*, предпочел будто бы просторечное, «фамильярное» обезличенному, «нейтральному». Нет, просто в духе языка Пушкин избрал более точное, ибо здесь речь идет именно о многократности, повторности, длительности: «не бранивался».

Противоречат между собою в учебнике стилистики А. И. Ефимова определения самой науки. Например: «Под стилистикой принято понимать науку о стилях языка и закономерностях употребления в них различных речевых средств»,— сказано на странице шестой. Но в дальнейшем задачей стилистики будет объявлено (почему — неизвестно) уже изучение метафор («переносных значений»): «Задачей стилистики художественной речи является изучение изобразительной роли переносных значений в языке писателей...» Вовсе нет! И это извечная ошибка теоретиков, происходящая оттого, что не найдены **атрибуты** художественности слова и предложения. А они есть, снова повторяю: это мыслеемкость, точность и вещественность слова. А метафора совсем не обязательна.

Не лучше ли будет определить стилистику так: часть поэтики, имеющая предметом слово и предложение в их изобразительной (художественной) функции?

Учение об изобразительных силах слова и предложения — стилистика, представляя собою, быть может, завершение грамматики, и ее венец, как считал Белинский, должна исследовать не только опыт художников слова, но и живую действительность языка. При этом не только само по себе слово, словарь народа, но на данном этапе — прежде всего синтаксис устной народной речи, включая и синтаксис устной народной словесности,— поистине глубинно неисчерпаемый и, по существу, новый для стилистики предмет исследования.

Надо же, наконец, признать, что даже Лев Толстой — и тот зачерпнул лишь один исполинский ковш из этой неиссякаемой, хрустально-чистой криницы — народногоречестроя. Еще ждет этот народный речестрой и великих грамматистов, и великих писателей!

РУССКИЙ ЯЗЫК САМ СОБОЙ ПРАВИТ!

Помета «просторечие» имеет характер предостережения от употребления слова в книжном языке.

Из предисловия к так называемому «ушаковскому» словарю русского языка

1

Глубоко ненавистное мне это «предостережение», предваряющее русского якобы языка четырехтомный словарь, о котором не могу говорить без горечи и гнева,— ныне выдвигаю на самое видное место: в эпиграф. Авось («простореч.») застарелые противники наших воззрений на русский язык и на соотношение всего языка с так называемым литературным перестанут после этого вновь и вновь твердить, что означенная помета вовсе, дескать, никаких запретов не налагает. А то вот не столь давно, в «Литературной газете» (№ 13, 1969 г.) один из наиболее ярых «нормовщиков» русского языка, кандидат филологических наук, не обинуясь («устарелое»), пишет: «И мало кому в голову приходит принимать нормативно-стилистические указания за наложение каких-то «запретов».

И довольно об этом!

Чувствую, что с меня сейчас будет спрос: *во-первых*, за выражение «*так называемый* литературный; а *во-вторых*, за столь беспощадное осуждение «ушаковского» словаря, который, прямо говорю, до сих пор является жерновом на шее и писателей и редакторов.

По первому вопросу я мог бы просто сослаться на Маяковского. Выступая 25 марта 1930 года в Доме комсомола Красной Пресни, великий русский поэт сказал: «Привычка писателя сегодняшнего дня писать тем языком, который *выдуман интеллигенцией*, который был разъединен от улицы, от языка масс и *назывался литературным*».

Нелишним считаю вспомнить здесь и то, что автор книги «Русский синтаксис в научном освещении», Александр Матвеевич Пешковский, пытался вместо термина «литературный язык» ввести термин куда более скромный: «литературное наречие». Прав он здесь или не прав, но, во всяком слу-

чае, напоминание об этом также помогает поставить предел непомерным притязаниям некоторых наших лингвистов-лексикографов править языком русского народа, его писателей и поэтов.

Я отнюдь не призываю писателей и поэтов отмежеваться от лингвистов, но... каждому — свое!

Борьба наша против мнимонаучного запретительства в книжном языке имеет в наши дни более чем *четвертьвековую* давность. Поэтому да будет позволено мне, в связи с упоминанием имени А. М. Пешковского, припомнить кое-что из дней минувших.

Когда «Литературная газета» в январе 1959 года открыла обсуждение вопросов русского литературного языка моей статьей «Эпоха и языковой «пятачок», то наиболее усердным опровергателем этой статьи явился один из лингвистов-лексикографов, кандидат наук. Исходом дискуссии он остался недоволен и, как говорится, «отвел душеньку» в специальном издании: «Вопросы культуры речи». С высот,— нет, вернее в данном случае, с ходуль,— науки он высокомерно объявлял меня «дилетантом в лингвистике», а потому, дескать, и не имеющим права суждения о русском языке.

Я мог бы ему коротенько ответить, что, насколько мне известно, ни автор «Тихого Дона», ни автор «Русского леса» никогда не напрашивались в лингвисты, а между тем... Но этим ли было убедить кандидата языковедческих наук! Вот грамматист-педагог Пешковский — это иное дело. И я смиренно принял назидание, что Югову, мол, следует вперед познакомиться с трудами Пешковского, а потом уже вступать в спор с лингвистами о русском языке. Это назидание даже доставляло мне удовольствие, так как в дни моей далекой юности я непомерно увлекался работами этого языковеда-методиста.

Я рассказывал о том, как гениальный языковед-историк, академик А. А. Шахматов дал суровый и поучительный отпор невежественным требованиям Пахмана, чтобы Академия наук в своем Словаре русского языка «исправляла и даже отвергала факты языка, не щадя никаких авторитетов». Речь шла поименно о Тургеневе, А. Н. Островском, А. К. Толстом и о Салтыкове-Щедрине, которых Пахман уличал в незнании русского языка.

И что же? Используя как раз это столкновение, делая ссылку именно на этот спор, мой оппонент принимает сторону Пахмана против Шахматова. Цитирую:

«Но раз уж А. Югов попытался использовать в своих интересах (?! — *А. Ю.*) *одно из самых уязвимых положений в концепции* академика Шахматова, то в дополнение к лингвистическим работам, уже прочитанным А. Юговым, можно посоветовать ему познакомиться с блестящей статьей А. М. Пешковского «Объективная и нормативная точка зрения на язык».

Как видит читатель, в отношении языковых воззрений Алексея Александровича Шахматова оный кандидат наук проявил легкость мысли необычайную: ведь до чего же, оказывается, отягчен был «уязвимыми положениями» Шахматов, этот исполин русского языкознания и русской истории, славист, мыслитель, которого академик В. В. Виноградов в письме к сербскому ученому Радовану Кошутичу справедливо именует: «Нашим общим **великим** учителем».

В чем же, однако, состоит порочность «концепции академика Шахматова»? Об этом в своей пространной статье предпочел умолчать оный, не называемый мною по имени кандидат наук. А не называю я его потому, что газетная полемика подчас забывается, а этот случай не считаю безнадежным.

Все же приходится взять на себя, пусть повторно, раскрытие шахматовской «концепции» в области лексикографии. Повторение здесь не обременит читателя, ибо Алексей Александрович с гениальной сжатостью изложил свои убеждения в данном вопросе. Вот его «концепция»:

«Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение, вместо того чтобы показывать, как говорят, решилось указывать, как надо говорить. Очевидно, что такое учреждение упразднило бы таким образом два авторитета, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка,— это, во-первых, авторитет самого народа, во-вторых, авторитет писателей — представителей духовной и умственной жизни народа».

Не могу удержаться от искушения присоединить к шахматовским суждениям такое же высказывание Анатоля Франса:

«Язык создается народом. Вольтер сетовал на это. «Грустно,— говорил он,— что в отношении языка, как и в отношении других, еще более важных основ жизни, первыми шагами нации управляет чернь». Платон говорил прямо противоположное: «В области языка народ превосходный наставник». Платон был прав. Народ создает язык хорошо. Он делает его образным и ясным, живым и метким. Если бы этим занимались ученые, язык был бы тусклым и тяжелым».

2

Забавной, мягко говоря, кажется мне и сама мысль запугивать сторонников шахматовских, точнее — дале-шахматовских, воззрений на задачи русского словаря ссылками на авторитет Пешковского. Во-первых, Пешковский лексикографом не был, о чем всякому кандидату языковедческих наук должно быть известно. Во-вторых, если даже не затрагивать вопроса о несоизмеримости масштабов этих двух деятелей языкознания, то все же не миновать нам того факта, что не Шахматов изменял свои воззрения вослед Пешковскому, а наоборот: Пешковский «эволюционировал» от Фортунатова к Шахматову. Об этом явственно сказано в предисловии к «Избранным трудам» Пешковского, а именно: «В этом (3-м) издании А. М. Пешковский отказался от одностороннего следования взглядам Ф. Ф. Фортунатова. Он многое изменил в своем труде под влиянием идей А. А. Потебни и А. А. Шахматова».

Помимо всего этого, совсем невыгодно было, и прямо-таки опрометчиво, моему противнику отсылать меня к «блестящей статье А. М. Пешковского». Да, этот исследователь, с одной стороны, признавал неизбежным и даже в какой-то мере полезным «для литературного наречия наивный нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях» (выражения-то каковы! — *А. Ю.*), однако, с другой стороны, Александр Матвеевич со свойственными ему противоречиями и, я бы сказал, «амбивалентностью» столько нелестных эпитетов нанизал на этот «нормативизм интеллигента-обывателя» и, наоборот, столь возвеличил «объективное» воззрение на язык, что мне опять-таки приходится только пожалеть, что оппонент мой поскупился на выдержки из этой статьи А. М. Пешковского. Сделаю за него это я:

«Современный лингвист признает каждый язык совершенным применительно к тому национальному духу, который в нем выражается... В мире слов и звуков для него нет правых и виноватых... И в конечном счете он ни одного факта не осудит, а лишь изучит...»

Далее следует, быть может, наиболее важное для нашего многолетнего спора суждение о соотношениях всего русского языка с «литературным наречием»:

«Прежде всего по отношению ко всему народному языку (т. е., например, для русиста ко всему русскому языку, кроме его литературного наречия), у лингвиста, конечно, не может

быть той наивной точки зрения (! — *А. Ю.*) неспециалиста, по которой все особенности народной речи объясняются порчей литературного языка. Ведь такое понимание приводит к взгляду, что народные наречия образуются из литературного, а этого в настоящее время не допустил бы, в сущности, ни один профан».

И вот опять же из статьи Пешковского, рекомендованной мне для прочтения моим оппонентом:

«Как видит читатель, она («объективная точка зрения».— *А. Ю.*) диаметрально противоположна обычной, житейской точке зрения, в силу которой мы над каждым языковым фактом творим или, по крайней мере, стремимся творить, суд «скорый» и зачастую «неправый» и «немилостивый». Мы или признаем за фактом «права гражданства», или присуждаем его сурово к вечному изгнанию из языковой сферы. Суд этот обычно бывает пристрастнейшим из всех судов на земле, так как судья руководствуется прежде всего собственными привычками и вкусами, а затем смутным воспоминанием о каких-то усвоенных на школьной скамье законах-правилах».

3

Мы — уже в который раз говорю! — за возврат русской лексикографии к заветам великих мыслителей языка — Даля и Шахматова.

В частности, коренным образом должно измениться отношение к так называемым областным словам, к «провинциализмам».

Когда академик Шахматов сменил академика Грота на посту главного редактора академического «Словаря русского языка», он обратился к читателям словаря со своего рода «декларацией». Даем необходимейшие выдержки из нее:

«Самый язык наших писателей изобилует областными словами: Тургенев, Кольцов, Григорович, гр. Л. Толстой, Мельников, Гл. Успенский, Златовратский и другие, описывая народную жизнь, не только влагают в уста действующих лиц слова местного, областного происхождения, но и сами охотно их употребляют... Наконец, оказывалось, что в «общеупотребительном» языке недостает слов для выражения очень многих понятий, определенно выраженных областными словами: тако-

вы, в особенности, слова, относящиеся к различным явлениям природы, многим ремёслам и производствам...»

«Ввиду такого накопления словарного материала из областных говоров,— продолжает А. А. Шахматов,— надо было совершенно отказаться от деления русского языка на языки — общерусский, общеупотребительный в России, и областной, имеющий местный характер».

Совершенно отказаться!..

Далее великий лингвист пишет замечательные слова о Толковом словаре Владимира Ивановича Даля, и напрасно об этом отзыве забывают:

«Таким образом, Словарь русского языка по своему объему и своим задачам приближается к Толковому словарю живого великорусского языка Даля, отличаясь от него главным образом тем, что не исключает словарного материала из памятников XVIII века. В словаре Даля впервые смешаны два языка — язык письменный и живой язык современных великорусских говоров. Это нисколько не умалило его значения как справочного руководства: он удовлетворяет вполне и научным, и практическим требованиям».

Я нарочно подчеркиваю эту высокую оценку и научной стороны далевского словаря, данную таким исполином языкознания, как Шахматов, ибо у нас, к несчастью, чуть ли не модою стало нет-нет да и «уклюнуть» Даля именно по части «научности». Дурной пример в этом смысле опять-таки исходит от присяжных лингвистов. Так, например, в академической статье «Словарь Даля», посвященной столетию со дня обнародования этого гениального труда, с недоумением и горечью прочел я следующие слова, явно «накатанные» дурной привычкой уличать Даля в «ненаучности»: «Словарь Даля не может служить опорой в поисках лексических и грамматических норм современного русского литературного языка».

Даже «опорой» — и то «служить не может»! Полноте вам!..— хочется мне сказать автору статьи.

Естественно, что и в популярных статьях, и в книжках, посвященных Далю, авторы считают непременными такого рода попреки великому лексикографу. Например: «Разумеется, для нас представляют интерес лингвистические труды великого лексикографа, хотя это и не научные, в строгом смысле слова, изыскания, и с точки зрения науки о языке многие рекомендации Даля более чем наивны».

Как видно, популяризатор-очеркист весьма и весьма расходится с мнением академика Шахматова о научной стороне трудов Даля!..

4

Владимир Иванович Даль — мыслитель, революционер языка. Он и сейчас — ведущий для каждого писателя и поэта, кто творит на языке русском. А разрыв с его учением о русском литературном языке — это движение понятное!

Вот в предельно сжатом виде его учение:

«Мы языка своего не знаем — это, право, можно вымолвить, не брав греха на душу,— а что еще хуже, и не хотим его узнать... Я смотрю на язык простонародный как на главный запас. Изучать надо нам народный язык».

Что здесь неверного?! Мы, русские писатели и поэты, все думаем так. Проведите референдум!

Даль — за русскость не только словаря, но и литературного речестроя:

«...Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из русского языка, мы больше стоим за русский склад и оборот речи; дурная привычка ходить за русскими словами во французский и немецкий словарь делает много зла... Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться на своих дрожжах...»

Да разве это не истина и для наших дней, когда иные поэты, да и журналисты иные, в каком-то ухарском, циническом упоении норовят завалить самые родники русского слова уродливой, подчас вовсе ни к чему нахватанной отовсюду иностранщиной!

Об этом немало у нас было и гневных окриков, и скорбных стонов. Да! Владимир Иванович прав: не в том беда, что горсть-другая иноязычных слов вторгнется в наш словарь. Тут дело взаимное, всемирное! А страшно другое: умерщвляются, иссыхают силы русского словотворения — за ненадобностью якобы!

Когда я думаю об этом, то один метафорический образ преследует меня. Однажды переделкинский лесник сказал мне, что «хитники» леса, бывает, польют бензинцем земельку вокруг вековой сосны, которую они наметили срубить для своих надоб-

ностей,— и могучее дерево вскоре засыхает. А на засохлое можно и «билетик» на порубку выправить!..

Не надо бензином поливать корни русского словообразования, не надо!..

На мой взгляд, «Толковый словарь» Даля превосходит все, появившиеся доселе, словари русского языка. Как? — возражают мне.— Даже и семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка»?! — Даже и его! — Но ведь, вероятно, в семнадцати огромных томах сумели объять несравненно большее количество слов, чем в четырехтомнике Даля?

Нет, к сожалению. Вот свидетельство одного из ведущих составителей этого академического словаря:

«Истинное лексикографическое богатство русского языка несоизмеримо с тем, как оно представлено в этом словаре: словарь содержит всего 120 480 слов, а это значит, что около половины того, что, в соответствии с принципами подбора, могло найти в словаре место, осталось за его пределами».

Как помните, в четвертом издании словаря Даля содержится около 220 тысяч слов.

5

Один из руководящих редакторов семнадцатитомника А. М. Бабкин высказал такое суждение: «Лишенным содержания следует признать и понятие нормативного словаря. Любопытно отметить, что почти каждый употребляет его, вкладывая в этот термин какой-то свой смысл».

К этому высказыванию здесь естественно будет присоединить и суровые критические попреки академическому семнадцатитомнику, вышедшие из-под пера и другого ученого редактора этого словаря, академика В. В. Виноградова. Указывая как на пороки словаря, на резкие колебания в исходных принципах от тома к тому; на «смешение исторической и нормативной точек зрения при характеристике словарного состава современного русского языка»; на «смешение филологических и энциклопедических принципов толкования слов» и на некоторые другие ошибки, он говорил: «При такой пестроте сочетаемых традиций достигнуть синтеза было почти невозможно... Часть принципов, положенных в основу построения нашего словаря, довольно скоро отпала. Об этом извещало уже редакционное предисловие к третьему (! — *А. Ю.*) тому». Хорошень-

кое «уже»! А почему бы не вооружиться ясными принципами предварительно, прежде чем приняться за столь ответственное издание?! В попреках академическому семнадцатитомнику *один из главных его редакторов* доходил до весьма серьезных обвинений. Так, не соглашаясь с пояснением к слову «твердосердый», академик Виноградов писал: «Подобных примеров стилистического недоразумения и недоумения не сотни, *а тысячи*... Можно привести из семнадцатитомного словаря достаточное количество справок, по существу пустых».

Меня удивляет, как до сих пор ученые-лингвисты, составители наших словарей, решаются отталкивать очень простую, несомненную истину, которую отстаивал еще Ломоносов, а именно: умерших слов нету (за исключением каких-то единиц), а есть сотни и даже тысячи отдыхающих слов.

Давно уже не одинок я и в борьбе против гонителей так называемых областных слов.

Позволю себе обнародовать здесь еще одно письмо мне глубокочтимого единомышленника моего в языке, украинского академика и поэта, покойного теперь, Максима Фаддеевича Рыльского:

«...Я вот только что раскрыл наудачу Вашу книгу («Судьбы родного слова».— *А. Ю.*) на 12 странице, и в глаза бросился абзац о «дурном лексикографическом обычае» «пятнать словарь русского народа неодобрительными и даже прямо запретительными пометами»... До чего же это правильно и хорошо! Обычай этот, увы, не чужд и украинским лексикографам. Попадаются в наших словарях такие курьезы, как пометка, или помета, «обл.» со ссылками, скажем, на Котляревского (полтавская губерния по-старому) и Ивана Франко (Западная Украина, Галиция — тоже по-старому). Какая же это широкая была область, перешагивавшая из Полтавы — через государственную границу — во Львов и Дрогобыч!»

Для пользы народной давно пора взять за руководство для нашей лексикографии слова Даля: «Словарник — не законник, не установщик, а сборщик»,— слова, истину которых полностью признал и академик Шахматов!

И — размежеваться с лингвистами, ввиду неправомерности притязаний словарной их группы — управлять и указывать в языке народу и его писателям!

Смысл этого явственнее станет через уподобление: анатом, даже наиученейший, будет самозванцем, если объявит себя лекарем, терапевтом. А русский язык к тому же и не пациент!

6

Исходные установки в отборе и «нормативно-стилистическом» определении русских слов, одинаковые и у семнадцатитомника, и у «Проекта», заставляют поневоле вспомнить предварение к «Словарю Академии Российской», затеянному Екатериной II (1789—1794): «Отделить слова, в сообществе благородных людей слышимые, от слов, между простонародьем только употребительных».

А еще обижаются на меня, когда я говорю, что в основе отвержения тысяч и тысяч русских слов, по причине их простонародности, лежит унаследование дворянских языковых предрассудков.

Совершенно зря «грубо просторечным» и «вульгарным» обозвано слова *заиметь*. Все здесь зависит от контекста: в смысле *начать иметь* оно вполне литературно (да простится мне это слово, столь смутное, определяемое нередко узкоинтеллигентской вкусовщиной!). Слово «заиметь» подобно слову *зазнать*, то есть начать знать человека с такого-то времени. Наши классики и в авторской речи не чурались его, но в семнадцатитомнике оно заимело сразу две предостерегающие пометы: «устар.» и «простореч.»

Ф. М. Достоевский, в авторской речи, да еще и в статье о европейских делах, употребляет наречие *зазнамо:* «Так что письмо папы, конечно и *зазнамо,* написано было безо всякой надежды на какой-либо прямой успех...» Но семнадцатитомный «голиаф» не удостоил этого старинного русского наречия местом на своих страницах, невзирая на то, что оно принято Ф. Достоевским в свою, *авторскую* речь.

Но зато уж словечку *фельдцейхмейстер* и производным от него отдан чуть не целый столбец, и даже без пометы «устарелое». А кто его слыхал, это слово, означающее воинское звание XVIII века?!

Немало в академическом семнадцатитомнике образчиков удивительной глухоты на русское слово, а попросту говоря, незнания русского языка, например в значении тех слитных сложных предлогов, которыми столь изобилен и столь украшается и утончается русский язык. Удивленно читаешь, что: «*поприжаться* — то же, что *прижаться*». И пример дан такой: «Большинство дворянства *поприжалось,* отказалось... от поездок в Москву». А поприжать — это, извольте верить составителям, будто бы «то же самое», что прижать! Примером служит: «Калломейцев приехал в двухмесячный отпуск, чтобы хозяйст-

вом позаняться, то есть кого пугнуть, кого поприжать». Подставьте, читатель, вместо «поприжать» просто «прижать», и вам ощутимой станет глухота составителей словаря на русский язык. *Попримолкнуть* для них «то же, что *примолкнуть*». Но пример, данный из Крамского, ясно показывает, что не «то же самое»: «Что же это вы *попримолкли*... я начинаю думать, что не случилось ли чего с вами».

Сравните с этой, явной для каждого русского человека нечуткостью к слову, исполненные глубинного понимания всей силы слитных сложных предлогов толкования, какие дает нам словарь Даля.

«*Попри-*, предлог сложный, весьма близкий к *прина-* или *попрuна-*; *по* уменьшает, смягчает, выражает: несколько, немного... *Попризадумаешься* над таким делом поневоле... *Попринажми* хорошенько сверху, так крышка закроется...»

С такой же глубиной, тонкостью и, я бы даже сказал, поэзией,— так что читаешь, и радостная гордость за русскую речь опахивает душу,— выслеживает и показывает на примерах Владимир Иванович значение всех слитных предлогов — двойных и тройных: *пона-, пооб-, попри-, поприна-, пораз-, и пообез-*.

Еще один, последний, пример из его словаря, в сопоставлении с более чем странными установками семнадцатитомника.

Даль пишет:

«*Впри-*, двойной предлог; в соединении с глагольным существительным образует большое число наречий, которых значение большей частью понятно по смыслу существительного и по смягчительному свойству предлогов... Поить скотину *babbrinуск*, *припуском*, прямо из реки.... *Впригарь*, наречие. С пригорью, несколько пригорелое».

Сличаю с «голиафом»: ну, конечно, двойного предлога *впри-* и в помине нету! И само собой разумеется, нет и далевских наречий: *вприпуск, впригарь.*

И ведь подобных «изъятий» из русского языка мог бы привести многое множество. «Фельдцейхмейстер» со всеми от него производными, очевидно, важнее! Горестно вздохнув, припомнил я слова Ломоносова по такому же вот поводу: «Для чего нам оное богатство пренебрегать, без всякия причины самовольную нищету терпеть!»

В заключение этой главы хочется мне поделиться с нашим читателем своими думами, что же все-таки послужило коренной причиной крупных, и по мнению самих составителей, изъянов

этого огромного и по объему, и по затрате времени и труда Словаря литературного русского языка?

Я думаю, порочна сама затея — представить лексику русского языка, минуя все пословицы, поговорки, песни, загадки, присловья и разного рода фразеологизмы, на чем, однако, столь блистательно построил свой Толковый словарь Владимир Даль. Странная мысль: давайте, дескать, назовем «современным литературным языком» только тó, чем успели воспользоваться литераторы! Тут знак равенства неуместен.

Но даже и в подборе имен авторов есть непонятное зияние: ни одного слова в Словарь русского языка не захотели взять составители из произведений Бориса Викторовича Шергина, который является в подлинном смысле гордостью русского художественного слова. Не меньше, чем Бажов.

А где хотя бы один пример из другого «архангелогородца» — Писахова, о котором не может говорить без волнения Леонид Максимович Леонов?

За двадцать пять лет работы над словарем кто-либо из громадного коллектива составителей мог бы и познакомиться с произведениями этих замечательных советских русских писателей.

Не нашли мы в списке фамилий ни Зазубрина, ни Николая Колоколова с их поистине изумительным русским языком. Ни одного из них примера! Не «литературны»?!

7

Тяжкое разочарование испытывает читатель словаря, остановив свой взор на слове «Русь». Помню, увидав это слово в алфавитном списке, я обрадовался: ну, думаю, вот раздолье-то для наших лексикографов, составителей словаря, прямо-таки алмазные россыпи! Уж если, думаю, не поскупились они дать два полных убористых столбца на словечно «фасон», пять полных столбцов на выдержки из произведений к слову «фигура»,— то ведь на слово «Русь» даже у «непросвещенного» читателя сейчас же хлынут в сознание изумительнейшие по своей силе и красоте *литературные* примеры.

Ну, прежде всего, с какой гордостью повторяем мы, советские люди, слова Ленина о Руси советской!

Избрав эпиграфом к статье «Главная задача наших дней» известные всем, прекраснейшие слова Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-

Русь!» — Владимир Ильич в своем вдохновенном прозрении восклицает: «У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция,— чтобы создать действительно могучую и обильную Русь».

Никто из нас не миновал бы этого примера на слово Русь!

Далее мысль наша устремляется к великим истокам нашей литературы. Пушкин: «Перетерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат» («Полтава»). Из него же: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой. И назовет меня всяк сущий в ней язык...» Эту строфу, если ее и забыли лексикографы-составители, они могли бы прямо списать с памятника, что на Пушкинской площади.

Гоголь: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далёка тебя вижу... Русь! чего же ты хочешь от меня?.. Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?.. У! Какая сверкающая, чудная, незнакомая дотоле даль! Русь!..»

И нет сомнений, подумалось, что не могут же они, раз возникает прямая надобность в примерах из литературы русской, пренебречь есенинским: «Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть,— я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким «Русь».

Да и само стихотворение называется «Русь советская»,— нет, думалось, этого всего уж никак не обойдут. Вряд ли и десятка словарных столбцов достанет!..

Раскрыл словарь на слове Русь — и чувство недоумения охватило меня.

В первую голову составители почему-то решили бросить в народ ветхую, лживую, давно опровергнутую учеными мыслишку о норманнском происхождении Руси. И пример-то — единственный к тому же! — взят из лженаучной, еще Белинским и Чернышевским осмеянной книги Н. Полевого «История русского народа».

Справка семнадцатитомника гласит:

«Русь, I. Наименование восточнославянской народности (не народа даже! — *А. Ю.);* сама эта народность. Летописи придают им имя варягов (эк ведь куда понесло! — *А. Ю.*), имя собирательное, коим означают они... всех обитателей *Скандинавии*, отличая в числе других *варяжских* народов отдельный народ: Русь, Н. Полевой...»

Но виднейшие советские историки — Б. Д. Греков, М. Н. Тихомиров, Б. Д. Рыбаков, А. Д. Удальцов, П. Н. Третьяков, С. П. Толстов, В. В. Мавродин — своими исследованиями доказали, что прав был великий революционный демократ и ученый Н. Г. Чернышевский, именуя норманнскую теорию «хламом», который необходимо «перетрясти».

И почему бы составителям академического «Словаря современного русского литературного языка», вместо того чтобы вытаскивать к слову «Русь» хлам первой трети прошлого века, не привести бы, например, суждение современного ученого — советского академика А. Д. Удальцова:

«Имя «Русь» («Рос») становится уже в шестом веке широко известно на юге, например в Сирии (Псевдо-Захарий). Все эти факты доказывают южное происхождение имени «Русь»... Ранняя «Русь» получила свое имя не от северных германцев-шведов,— как утверждала пресловутая норманиская теория,— она (ранняя Русь) сложилась еще в четвертом веке, в борьбе с германцами-готами...»

А сколько чудеснейших примеров могли бы дать составители к слову «Русь» из книги академика Б. Д. Грекова «Борьба Руси за создание своего государства». Кстати, труд этот был, можно сказать, под рукой: это издание АН СССР, как и словарь.

Или отчего же было не воспользоваться цитатами из работы другого современного историка — В. В. Мавродина: «Борьба с норманизмом в русской исторической науке»?

Правда, этот ученый резковат, но ведь по существу-то совершенно справедливо его выражение: «Смрадный дух норманизма...» (стр. 51). И справедливо предостерегает он советскую общественность (так же, впрочем, как Б. Д. Греков), что агрессивнейшие круги США взяли ныне в борьбе с нами в свой арсенал именно норманнскую теорию происхождения и слова, и государства Русь.

Первым разоблачителем «норманизма» был, как ведомо, Ломоносов. Насаждали же у нас этот хлам Миллер и Шлецер, неосмотрительно допущенные к русским историческим архивам.

Господин Шлецер из всех доверчиво предоставленных ему летописных источников, конечно, имел полную возможность убедиться в том, что и культура древней Киевской Руси и предшествующих ей антских огромнейших объединений стояла очень высоко. Однако, поправ долг и честь ученого, из враждебных чувств к России, он запятнал свое имя пасквилем на рус-

ский народ, написав, что это были, мол, люди «без государства», что они «жили как лесные звери, ничем не выделялись, без всякого общения с миром и потому никем из южных культурных европейцев не отмеченные и не описанные».

А господин Миллер в диссертации «О происхождении народа и имени российского» (1749) отличился еще более зловонной клеветой на историю нашего народа. По поводу его «диссертации» Ломоносов писал, что у господина Миллера «на всякой почти странице русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают... Сие так чудно, что если бы г. Миллер умел изобразить живым штилем, то он бы Россию сделал столь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен».

Возмущенный лжеучением Шлецера, Ломоносов тоже выразился не очень-то «академически»: «Из сего заключить должно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина».

8

Необходимо, хотя бы самым сжатым образом, рассказать широким читательским кругам, откуда взялась лженаучная легенда о призвании русскими в 862 году трех братьев-варягов — Рюрика, Синеуса и Трувора, чтобы «княжить и володеть» нами.

Прежде всего, еще в середине прошлого века русскими учеными было разъяснено, что имена двух братьев Рюрика: «Синеус и Трувор» произошли от забавного языкового недоразумения. Фразу древнескандинавского предания: «...Рорик син хьюиз тру варинг...», что означает: «Рорик со своим домом и верною дружиною...», кто-то еще в Древней Руси перевел, как: «Рюрик, Синеус и Трувор».

Примечательно, что уже в наше, советское время генерал А. А. Игнатьев, автор книги «Пятьдесят лет в строю», также отмечает эту ошибку прочтения, на основании своего глубокого изучения норвежского языка, овладеть которым ему пришлось еще в старое время, когда он послан был в качестве военного атташе в Скандинавские страны.

Легенда о «призвании варягов» — разоблаченный миф! Кстати, слово «варяг» вовсе не относится к скандинавам. Оно вообще означает храбреца, витязя. Лингвисты сближали его,

в видоизменениях: *вагр, вагор, вараг, варяг* и с санскритским *«вагара»,* и с немецким *«ваккер».* Академиком В. Г. Васильевским доказано, что варягами вообще называлась охранная дружина, телохранители какой угодно национальности. Так, у византийских императоров наибольшим почетом и доверием пользовались *русские* варяги.

Еще в прошлом столетии было указано, что слово *«варяг»* сродни с названием племени вендских славян — «вагры». А древнечешское *«рорик»* означало: *сокол.* Ближайшими же соседями тех же самых вендских славян — *вагров* были *рароги,* то есть *сокола́.*

Но это — одна сторона вопроса, и не будем слишком вдаваться в лингвистику!

Существенно, что легенда о призвании тем или другим народом троих, а либо двоих братьев, дабы они «навели порядок»,— это буквально «бродячий сюжет». Примеров множество. Приведем некоторые из них.

Так, древние ирландцы призвали будто бы Амилава, Ситарока и Ивора. У славян: Лях, Чех и Рус, затем — Кий, Щек и Хорив; у англичан — братья Гангист и Горза; причем саксы, их призвавшие, говорят почти буквально то же самое, что́ якобы сказали послы Новгородские трем братьям-скандинавам; у поляков — Попел и Пяст. Чуть было не забыл, что и Рим основали тоже два брата: Ромул и Рем!

Иван Грозный всерьез ссылался, что он потомок... римского кесаря Августа. Возвеличение царствующей династии требовало производить ее либо от богов, либо от каких-то чудодейственных и непременно царственных пришельцев-братьев!

Однако самое интересное — впереди!

Установлено, что рукой летописца «водили политические страсти», как сказал один из историков. Мало этого, когда на престол всходил князь другой, враждебной ветви, он заставлял переделывать неугодное ему место в летописи на более выгодное для его рода. Так было и со знаменитой начальной летописью. Сначала ее вел летописец-монах Нестор, в Киево-Печерском монастыре, около 1113 года. Но, вступив на княжение, Владимир Мономах поручил ведение летописи игумену «своего» монастыря — Сильвестру. И здесь-то сказание о том, «откуду есть пошла руская земля и хто в ней почал первое княжити», было заменено другой редакцией — с братьями-скандинавами. Причина? — Очень простая! Род Владимира Всеволодича, начиная от прадеда (от Ярослава Мудрого) и

вплоть до внуков, крепко перероднился с *норвежскими* княжескими домами.

Еще в прошлом веке русскими историками это было раскрыто. Вероятно, возвеличение своей норвежской родни, поставление ее в начале Киевской династии, легенда о призвании варягов-скандинавов,— все это было еще страстным требованием честолюбивой и властной *шведки,* супруги Ярослава Мудрого, Ингигерды: она была дочерью *шведского* конунга Олава. А ее дочь выдана была замуж за Гаральда *норвежского.* Внук женат на Гиде, дочери английского короля Гаральда. Правнук Мстислав (сын Владимира Мономаха) женился опять-таки на дочери *шведского* конунга Инга, на Христине.

Устарело ли приведенное только что объяснение в глазах современной исторической науки? Нисколько, напротив, подтвердилось новыми, убедительнейшими разъяснениями. Так, в трудах советского историка и археолога Бориса Александровича Рыбакова, академика, содержится прямое обвинение, со ссылкою на академика Шахматова, против именно князя Мстислава: что это он, «породнившийся со всеми варяжскими королевскими домами», заставил Сильвестра выбросить из летописи Нестора прежнее сказание о начале Киевской Руси и заменить другим, «пронорвежским». А затем и сам «руку приложил»!

Мстислав, пишет академик Рыбаков, взамен первоначального, несторовского текста «втиснул в летопись тенденциозную легенду о призвании в Новгород князей-варягов — Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора, использовав для этой цели распространенное в Северной Европе сказание... Эта тенденция и послужила предлогом для позднейших историков, чтобы выдвигать варяжскую, «норманнскую» историю происхождения русского государства и даже самое имя Руси связывать с варягами, хотя основанием для этого явилась *грубоватая и неумелая фальсификация русской летописи,* проведенная при Мономахе в определенных политических целях».

Утверждение, что мнимые братья Рюрика порождены грубой ошибкой в переводе с норвежского, академик Б. А. Рыбаков также поддерживает: «Братья» Рюрика являются результатом чудовищного недоразумения, происшедшего при переводе скандинавской легенды».

Такие вот достоверно научные сведения и следовало бы помещать в соответствующих «гнездах» академического словаря, та́к бы следовало и преподавать историю нашего отечества в школах.

Я негодую, когда слышу выражение: «Киевская Русь,— но это же седая старина!..»

Нет, Киевская Русь — это отрочество и ранняя юность наша!..

ТАЙНОВЕДЕНИЕ СЛОВА

Владимир Даль говорил, что не учитель он и не наставник, а только **«ученик»**, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от **учителя своего, живого русского языка»**. Мудрое и далекоплодное слово! Но к своим, личным попыткам воплотить в художественных произведениях великую истину учения своего о создании **литературного языка на народной основе** он относился довольно сурово. И впрямь: не ему, как писателю, а, в первую очередь, его гениальным современникам — Пушкину, Гоголю, Крылову, Толстому, Достоевскому, Салтыкову-Щедрину, Некрасову, а затем, преемственно, всей плеяде русских писателей позднейших десятилетий XIX века и начала XX, чьи имена памятны каждому из нас,— им принадлежит высокая честь созидания литературного языка на основе живой народной речи.

Борясь против искажения русского речестроя навалом переводной книжности, скорбно указуя на всё возрастающее зияние разрыва между языком литераторов и живым языком русского народа, Даль предостерегал:

«Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее по-здоровому и проложить себе иной путь...» Утверждая, что «наши местные говоры — законные дети русского языка и образованы правильнее, вернее и краше, чем наш письменный жаргон», он уподобляет эти местные говоры «дичку». Однако пусть никто не истолкует ложно такое уподобление: ибо здесь же он говорит, что этому «дичку» надлежит не только «дать простор», а еще и надо дать ему **«вырасти на своем корню, на своих соках, сдобрить и холей и уходом, а не насадкой сверху»**. То есть в этих подчеркнутых мною словах самоочевидно предполагается **развитие, процесс**, да еще и при наибольшем благоприятствовании.

А что же случится, по его мнению, если наши литераторы вовремя не опомнятся? В таком случае картина представлялась безотрадная:

«...Наша голова, или наши головы умчались так далеко куда-то вбок, что едва ли не оторвались от туловища... Принимая это к нашему языку, сдается, будто голове этой приходится либо оторваться вовсе и отвалиться, либо опомниться и воротиться».

К счастью, советские художники слова, пишущие на русском языке (за исключением, пожалуй, прозаиков журнала «Юность», язык которых весьма «облегчен» и невзыскателен), давно уже идут далевским, а точнее — **шахматовско-буслаевско-далевским** путем, осуществляя их мудрый и спасительный завет о созидании **литературного языка на народной основе.** Думается мне, что такой же благодатный процесс ныне совершается и в литературном языке всех народов нашей многонациональной страны.

Последние два-три года я, по работе своей, наиболее крепко связан с журналом «Наш современник». Его художественная проза, почти вся, прошла и через мое прочтение. И вот, обозревая, самым беглым образом, круг прозаических произведений, у нас напечатанных, я с чувством глубокой отрады должен сказать, что чрезвычайно смело, даже дерзновенно, и отмахнувшись от «запретителей» и всяческих «служб языка», вся эта писательская дружина с незаурядным искусством воплощает в своих рассказах и повестях мечты и призывы исполинов русского слова — о естественном воссоединении книжного языка с живой народной речью. Какое раздолье так называемой «областной» речи, какой простор издревле русскому слову отцов, дедов и прадедов!

И вот что примечательно. Почти все они — воины, и воины доблестные Великой Отечественной, а до войны — люди вещественного, производственного труда. А пришли они не только из Центральной России, а кто — из Архангельской, кто — из Вологодской, кто — с Урала, кто — из Сибири, кто — с Дальнего Востока, а кто — с Алтая.

Писатели эти вовремя поняли,— честь им и хвала! — что неоткуда было, к примеру, исконному москвичу почерпнуть все и всяческие обозначения северного сияния, какими издревле богат язык того русского человека, что обитал на берегах «Студеного дышущего моря», сиречь — Белого, с берегов которого пришли в литературу Шергин и Писахов!

А стало быть, потеснись так называемый «литературный язык»: прими родное «пополнение» — с севера и юга, с запада и с востока,— краше и мощнее станешь!

Заведомо не перечислить мне всех! Но даже и в кратчайшем

перечне с наиболее щедрыми россыпями живого народного слова непременно следует назвать хотя бы эти имена: Виктор Астафьев, Леонид Безруков, Евгений Зиборов, Владимир Измайлов, Владимир Колыхалов, Иван Падерин, Валентин Распутин, Николай Рыжих, Гавриил Троепольский, Иван Уханов,— могучая дружина!

Образчиков приведу всего лишь несколько. Один из них — полностью.

«НЕ НАДО ВОЙНЫ!

— Мы вот, матери, бывает, сойдемся, да не один раз, и вспомянем войну-то! Не один раз... Да неужели, мол, еще будет?

Настасье Беляковой на всех на четверых похоронки были присланы... В войну, как все еще шла война-то. А во сне, во сне до сей поры то одного, то другого видит, встречает. Пришел вот, как рассказывает, однажды Колюшка... самый младшенький изо всех братьев... да рубаху новую и просит: «Дай-ка, говорит, мне, мам, другую, новую-то рубаху... Эта уж... вся... сотлела...»

Неужто еще война будет, а?»

Не знаю — как кому, а я не могу вслух читать этого... рассказа, что ли,— так нет, не рассказ вроде бы! Не могу, потому что начнешь читать, а слезы мешают.

Не хочется и «распластывать» на столе стилистического анализа эту вещь: каждый и без того увидит, что это — не сочиненное, а безупречно истинное народное слово, и — что никакими литературными ухищрениями не достигнуть та́к вот, десятью строчками, столь мучительного, незабываемого воздействия на сердце человеческое.

Справедливо сказал известный писатель, Николай Кочин, представляя на страницах «Нашего современника» Леонида Безрукова читателям: «Такую жизнь и такую речь нельзя выдумать...»

Откуда же она взялась, эта речь? На это отвечает нам самая краткая справка о писателе. Он родился, возрос, и доселе живет и работает в краю, где протекают речки Ветлуга и Керженец, где лежит легендарное озеро Светлояр, на дно которого ушел град Китеж, дабы «спасену ему быть» от злого Батыева нашествия. Здесь, в этом краю, жили-были люди романов Мельникова-Печерского. Поезжайте в колхозы и совхозы этой области сейчас вот, и вы убедитесь, что живая старинная народная речь не заглохла там, не вымерла, хотя и обогатилась чрезвычайно понятиями и словами советской эпохи.

Не без воздействия на язык писателя было и то, что он, окончив среднюю школу, шестнадцать лет проработал на заводе, прежде чем стать журналистом. В писатели — не торопился: «С тридцатого!» — ответил бы он, по обычному, на вопрос о годе своего рождения.

Повесть Евгения Зиборова «Бронебойщики». Орловский. С двадцать второго. Воин Великой Отечественной. Бронебойщик сам. А о таковых ведомо: «У бронебойщиков же трусов не бывает. Струсил — тут тебе и каюк. Ждите, родные, похоронку! Мол, ваш муж или сын погиб, защищая нашу Советскую Родину... Как погиб — не напишут. Может, это и к лучшему. Зачем сыновьям знать?..»

Это — **авторская** речь, но разве не дышит она живой народной речью?

И ведь не только — словарь, а и строение, конструкция — «просторечны». Попытайтесь изъять отсюда «мол», «может», «тут тебе и каюк», безличное — «не напишут»,— и рухнет все. И легко может убедиться каждый, что в перекладе на «дозволенное», на «гладко литературное», исчезнет вся мыслеемкость сказанного — «размажется» не на одну страницу, да и то с невосполнимым ущербом!

И это заключительное, недоговоренное: «Зачем сыновьям знать?..» — какая здесь художественная рассчитанность в этой недоговоренности, столь свойственной именно устно-речевой стихии!

Вся повесть в языковом отношении построена именно так. Безупречны «речевые портреты» бойцов и комиссаров. Даже через одно его слово видишь каждого! И щедро рассыпан изумительный по изобразительности своей словарь войны. И нет дела писателю-бронебойщику, что многих и многих слов, **необходимых** ему, вовсе нет не только в «словаре» Ожегова, но даже и в семнадцатитомнике, как, например, слова «показуха», или — «докука»: «Но глупую смерть презирал, как и лихость, показуху» «Хозяевам **докука,** да и себе неудобство». Слова эти есть у русского народа — этого достаточно! Да если бы даже сло́ва «докука» совсем не было в речевом обиходе, то для писателя достаточно и того, что существует глагол «докучать», чтобы не сомневаться в «законности» и существительного. «Я к тебе с докукой пришел» — сколько раз приходилось мне и на Тоболе, и в Новосибирске, и даже на Ангаре слышать это речение!

Дав себе полный простор в естественном и плодотворном слитии «просторечия» с принятой так называемой литературной речью, Евгений Зиборов развертывает перед взором читателей целый ряд сильных изображений людей и событий «переднего края».

«Он провел по боку руками и нащупал широкий, с рваными краями и **заусеницами** горячий осколок». (Слово «заусеница» помечено в наших словарях пометой «разговорное».)

«Под плащ-палаткой, прикрывая окоп наподобие **двускатной кровли,** было сухо и тепло».

«Бутов яростно **чертыхался,** скорчившись над телефонным аппаратом».

«После этого Григорьев установил ружье, несколько раз спускался вниз, на **чавкавшую** под ногами лощину».

«...Видел **искорёженные** танки и орудия, **накрытые** залпами советских батарей...»

«...След его горел и **саднел**».

«Прыгая и **петляя** между частоколом березок и осин, они углубились в чащу... и тут Чичковский упал без сил, споткнувшись о мшистую, поросшую голубыми цветками кочку».

«И Трякин небрежно **цыркал слюной** сквозь зубы» (о нагловатом трусе).

«Пусть повезет, пусть кто-то другой, а не он останется на этом черном **осклизлом** поле».— Это — о нем же, и несомненно, что и слово «цыркал», и «осклизлый»,— означенные в наших запретительных словарях как «просторечные», хотя «осклизлый» указано в **авторской** речи Чехова,— эти именно слова, да и другие, мною здесь подчеркнутые, неотъемлемо входят в художественный расчет автора.

Но вот и «архаизм» — **вспять,** слово, означенное именно так в наших словарях («в архаичных выражениях»), советский писатель-бронебойщик счел нужным применить вовсе не к старине: танки пока еще не зачислены в архаизмы!

«Дважды вздрагивала тяжелая машина, выбрасывая гусеницами потоки жидкой грязи, и лишь на третий раз, боком, медленно и с усилием, поползла **вспять**».

Не «назад», а именно — **вспять!**

Да и довольно бы запугивать писателей «архаизмами» да «церковнославянизмами»! Не пора ли задуматься над словами, которые каждый может прочесть в замечательной книге, переизданной Академией наук СССР и Учпедгизом в 1959 году:

«Русский язык в связи с церковнославянским, уже в самых древних памятниках нашей письменности, не только так же богат и разнообразен в своих грамматических формах, как и язык нынешний, **но даже во многом его богаче и совершеннее»** (Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, М. 1959, стр. 30).

С таким же глубинным знанием **всерусского** языка, отметая лжеученые запреты, пишет Григорий Коновалов. Земляк; оренбургской области. С девятьсот десятого. И опять-таки — воин Великой Отечественной. Подводник. Из учителей.

Его, кажется, не особенно волнует, что какие-то «сувыше мудрые» дяденьки предостерегают, одергивают писателей от областных, от архаичных слов и речений: щедрость у него в этом смысле неимоверная.

В рассказе «Постой в Кудеярове» он проявил это полностью.

И примечательна та, можно сказать, «декларация», устами советского офицера Дорофея Кудеярова, которая предшествует в этом рассказе собственно повествованию:

«Ведь совсем недавно еще плитой каменной, замка́ми пудовыми отгораживали учителя Русь от Дорофея, напускали тумана, будто во все поры прежние клубилась тьма в России, и блуждали в той тьме губошлепые ротозеи, а управляли ими дошлые иноземцы...

Когда же велением времени для подкрепления духа воинского были вызваны образы Невского, Донского и других умных, смелых и знатных россиян, Дорофей обрадовался и как бы посильнее стал, будто испил того самого кваску, каким вызволяли из калек в богатыри мудрые старики Илью Муромца».

С любой страницы рассказа пригоршнями можно черпать образчики слов и оборотов, где живой народный язык, «областное просторечие», в нераздельном единстве с общепринятой книжной речью, строят целеоправданные, дышащие новизною структуры. Неожиданны эпитеты:

«Женщины Кудеярова были рослые, **полномерные,** красивые тем особенным состраданием, которое свойственно вечным солдаткам: в нраве их была отзывчивость на ласку и любовь».

Не боится автор ни наречий, ни прилагательных в народнообластной форме. Когда-то Павел Петрович Бажов очень

осердился на диктора, который наше урало-сибирское слово «поперёшный», то есть закоснело-упрямый, любящий противоречить, произнес как **попере́чный.**

У Григория Коновалова:

«Нашла-наехала на Дорофея упрямая **поперёшность,** онемел, на потемневших скулах густо взошли веснушки... Но сладить со своей **поперёшностью** уже не мог...»

И северо-восточная, забытая форма наречия — «спроть», вместо *супротив, напротив*, не отпугивает его: «в боковушке, **спроть** кухни». Не так громоздко, как литературное, не сбивает взятую в данном отрезке синтагму, ритмическую поступь. Да и усилительное удвоение однозначных глаголов — «нашла-наехала», извечно народное, да и слово «боковушка», оснащенное «просторечным» суффиксом, как в словах: **избушка, малу́шка** (то есть малая изба), в данном случае **нужны** автору. А раз нужны — то он и берет его из сокровищницы народного языка, уверенный, что для русского человека сноска здесь не потребуется. И не разделяет он заботы одного «невегласа»: как бы, дескать, **избытком синонимов** мы не затруднили постижение нашего языка иностранцами. Да, да, был в печати выставлен и такой довод за облегченность русского литературного языка! Но это уж, пожалуй, не облегчать, а скорее — «легчить». (Смотри словарь Даля.)

Тут кстати будет припомнить мне из моего личного опыта **истинное** отношение литературного зарубежья к «необлегченному» русскому языку наших произведений.

Прага выпустила в свет мой роман «Бессмертие» на чешском языке. Переводчик испытал немалые трудности, добиваясь равноценной полноты перевода. Однако из послесловия известного чешского литературоведа В. Становского видно, что братья чехи отнюдь не сетуют за это на русского писателя. Напротив, автор послесловия счел даже полезным для чешского читателя закономерно связать особенности языка «Бессмертия» с теоретическими воззрениями Югова на современный русский литературный язык:

«Необходимо еще упомянуть о языковой стороне романа, необычный характер которого удалось в значительной мере выразить, благодаря **тщательному, творческому** переводу...»

По праву одного из старейшин писательского цеха, иной раз и поворчу в печати на кого-либо из молодых, а иной раз и — «Эк повырастали ребята!» — невольно вырвется у меня. Так

вот и с недавно вышедшим очерковым сборником Юрия Грибова «Журавлиная стая». Давненько я зазнал этого скромного и пытливого «спецкора», газетчика, читывал его отдельные очерки, и, признаться, радостной неожиданностью является для меня то несомненное, что из очеркиста, «кóра», явственно в этой книге прорастает новеллист. Не спорю, очерки — дело достойное, многотрудное и наиполезнейшее. Сам я немало потрудился в этом жанре. Но и путать эти две разновидности художественной прозы — большая, хотя и ходовая ошибка. Новелла — это огромный вывод из заурядного события. Именно — «заурядного», то есть зауряд, житейски бываемого, а вовсе не ничтожного, как склонны многие понимать слово «заурядный». Вот с этой-то формулой подходя к сборнику Юрия Грибова, я почти в каждом очерке его книги нахожу это «перерастание» очерка в новеллу. Еще бы, кажется, немножко, вот-вот, и... Но лучше я на одном примере, на очерке «Село родное» попытаюсь показать это.

Начинается очерк сильно отработанным в языковом отношении, непринужденно-разговорным и, в то же время, столь душевно-пронзительным и мыслеемким обращением, словно бы, к читателю:

«У каждого, наверное, бывает в жизни такое: встанет вдруг перед глазами милое детство и так всколыхнет, так растревожит, такую сладкую боль разбудит в душе, что ходишь потом сам не свой, и все тебе жалко чего-то, терзаешься и думаешь, что вот годы проходят, а ты на родине, где родился и вырос, давно уже не был, не радовался узнаваниям и встречам, не стоял у дорогих могил...»

А дальше автор все с такой же искренностью рассказывает, как, проезжая родными местами, попросил он водителя быстро несущейся по шоссе машины сначала замедлить ход, сильно удивив его этим, а затем и вылез из нее:

«Ты уж возвращайся, а я, извини, пешочком... Не могу я ехать...»

Да, и каждый, кто долго-долго не бывал в родном краю, стосковался по тропинкам и дорожкам босоногого детства, вероятно поступил бы так же: путь, на который ты, вместе с матерью и мальчишками-дружками, отдавал тогда целый день пешей ходьбы, теперь «продергивают» перед твоими глазами, словно убыстренную ленту кино!

И чем же не миниатюрная новелла даже в одном этом?!

Однако не застаивается Юрий Грибов на сладостной печали воспоминаний детства,— нет, но, представив читателю несколь-

ко отлично написанных эпизодов из этой незабвенной поры в жизни каждого человека, он в дальнейшем с мужественной гордостью и отрадой проводит перед нашими глазами огромную череду доблестных героев труда и войны,— гражданской и Великой Отечественной,— и неразрывно с этим дает очерковую панораму их созиданий.

Нет сомнений, что надолго западут в сердце читателя и образы советских женщин — колхозниц. Хотя бы о двух только, а нельзя не сказать! Вот перед нами — Митревна, великая труженица земли; ей уже... сто годочков, и, однако, она до сих пор «легкая, быстрая, разговорчивая»; легко несет «глиняный, старой работы кубан» с молоком. Естественно, что никто не решился бы просить ее помогать в колхозных работах, но она сама нет-нет да и выйдет «на ток к веялке или к парникам». Чудесные слова сыновнего поклонения находит писатель, рассказывая о ней:

«— А куда денешься, милый, живу вот и живу,— как бы извиняется за свое долголетие Митревна и кладет на колени крупные крестьянские руки, темные, в бугорках вен, спокойные, сильные и в такой старости. Я смотрю на них, и хочется мне припасть к ним...»

Да, «п р и п а с т ь»,— всегда радуюсь, когда должное и единственно надобное, уместное слово или выражение находит молодой писатель: немалое количество «словесной руды» приходится перемыть для этого! Скажи он в данном случае — «поцеловать», а не «припасть»,— и вот — сентиментальное получилось бы вместо возвышенного! А в книге Юрия Грибова немало таких словесных «находок». И добротна, вообще говоря, словесная ткань очерков, за исключением немногих мест, где есть затяжка чисто очеркового обзора колхозных достижений, где очерк подавляет скрытое в нем «ядро» новеллы.

Теперь — о второй женщине колхоза, не измышленной, реальной, с именем, отчеством и фамилией: о Лидии Ивановне Флорентьевой. И опять-таки, к чести автора сказать, переложение выйдет длиннее, чем сказано у него:

«Смекалистее, упорнее и прилежнее, помню, не было у нас в Буграх женщины. Все она умела делать: и верхом ездила, и с конной жаткой управлялась, и сеяла, и стога метала, и пчел разводила. Невысокая, круглолицая, стройная, в белой кофточке без рукавов, носилась она по селу, готовая помочь любому словом и делом, стучала кулаком на собраниях, ругая лентяев и пьяниц, красиво и душевно пела на праздниках, плясала под

балалайку и гармонь. За такое бескорыстие, за прямоту и сердечность и звали ее ласково: Лидеюшка».

Далее — самое главное, разительное из ее судьбы.

Одна, без мужа, вырастила она, «подняла», как говорится, троих детей. Старший сын стал сперва кандидатом наук, затем первым секретарем обкома партии, а затем и «министром сельского хозяйства России»,— повествует Грибов.

Сын звал ее в город, на отдых, более чем заслуженный. Но вот что ответила она ему:

«— Нельзя, сынок, родную землю бросать... Сам, чай, агитацию в деревнях проводишь, чтобы народ поле свое не забывал, а меня сорвать хочешь. Люди-то что скажут? Стыдно людей-то будет...»

Под стать этим высоким образам женщин русской земли и образы воинов советского Отечества. Следует назвать из их числа хотя бы Гаврилыча, который недаром получил в родном селе прозвание «Свояк Ильи Муромца» — и по духовным и телесным своим богатырским силам; и — воевавшего на «катюше» Костю, и танкиста Владимира Араева с двумя братьями, подобно ему отдавшими свои юные жизни в боях с фашистским нашествием. Вспомянув их всех, посвятив памяти каждого из них беглые, но создающие зримый образ стрóки, автор находит и достойные, скорбные слова как бы некоей эпитафии, когда стоит, склоня голову, возле памятника им в родном селе:

«...На всех четырех стенках обелиска лесенкой сбегают фамилии. Девяносто две фамилии. Они выбиты золотом. Сто двадцать домов в деревне — девяносто два имени на обелиске... Не торопитесь читать дальше, остановитесь, подумайте...»

...Но и мужи мирного социалистического труда, его герои даны в книге чертами художественными и определяющими. Вот прославленный ученый, селекционер льна, Анатолий Александрович Слинин, «доктор наук без защиты диссертации», воин в прошлой и гражданской (против Юденича) и Великой Отечественной,— сколько зарисовок с него, из которых едва ли не каждая могла бы стать «завязью» новеллы! Одна из них: автор, беседуя с ним, берет с тумбочки тонкую книжечку, «всего семьдесят страниц», с надписью: «Всесоюзная ордена Ленина Академия сельскохозяйственных наук... А. А. Слинин. Выведение высоковолокнистых сортов льна-долгунца».

«— Это и есть... ваша докторская? — спрашиваю я, когда Слинин повесил трубку.

— Что? — вскидывает бородку Анатолий Александрович.—

Ах, эта. Считайте как угодно. Я, видите ли, не имел в виду степень, просто, знаете, записывал и накапливал результаты...

— И сколько лет ушло на эту книжечку?

— Как вам сказать... Вся жизнь ушла...»

Трудно без волнения читать очерк, посвященный Герою Социалистического Труда, председателю известного сибирского колхоза имени «Седьмого съезда Советов», Виктору Уссу. Нечего и пытаться здесь обозреть просторно рассказанный автором «Журавлиной стаи» в подлинном смысле страдный жизненный путь этого человека. Подвигу Виктора Петровича в мирной жизни предшествовали подвиги его на фронте: Виктор Усс попал под Сталинград. Попал он в то самое время, когда фашисты на некоторых участках были в одном броске от Волги. Командовал младший лейтенант Усс взводом автоматчиков, ходил в атаки. При штурме дзота контузило его близким разрывом мины, и в госпиталь попал он уже с подмороженными ногами: поздно нашли санитары. Едва поправившись, коммунист Виктор Усс «отыскал свой полк и пошел с ним на запад, отвоевывая у фашистов города и поселки».

Далее обстоятельно, ярко и правдиво, без прикрас и без утайки неимоверно тяжких обстоятельств в колхозе, который возглавил Виктор Петрович, рассказаны его трудовые подвиги, рост и возмужание человека на новом посту, на новом фронте. Председатель колхоза и его сподвижники с победою вышли из многолетних испытаний. Виктор Усс, говорится в книге, «стал Героем Социалистического Труда».

И вот здесь-то мне и хочется особо отметить незаурядный художественный прием, который обрел автор, дабы выразить душевное состояние героя, когда в газете прочел он о высокой награде:

«...Когда жена его, Мария Фоминична, прибежала из школы, где она работает, с газетой в руках, Усс прочитал сообщение и, чувствуя, что вот-вот не сдержится, заплачет, сказал ей тихо:

— Один хочу побыть...»

Только и всего... Знаю: нелегко достаются писателю такие «концовки»!

И еще раз уверенно говорю и радуюсь: очеркист Юрий Грибов перерастает в новеллиста, и притом — талантливого!..

Закончить этот разговор о «тайноведении слова» хочу раз-

мышлением о творчестве любимого мной писателя Бориса Викторовича Шергина.

Борис Шергин — человек многотрудной судьбы, но и многоплодной и вдохновенной жизни. Думается мне, придет час — и о нем, о самом, будут писаться книги!

Родился он и возрастал до отроческих лет в древнем городе Архангельске, там, где одним-единственным, но многоверстным широтою проливом огромнейшее Студеное море соединяется с Ледовитым океаном, и вот широченный этот пролив поморы, то есть издревле обитающие на берегах Белого моря русские мореходы, кораблестроители, зверопромышленники, рыболовы, строители и умельцы многообразных ремесел и художеств,— с давних пор именуют образно: Горло.

Языки народов с незапамятных времен обогащают свой житейский и поэтический словарь, увеличивают его изобразительную силу особым путем: через так называемую *метафору*, то есть перенос, когда слово из одной области явлений применяют к предметам и явлениям совсем иного мира.

Наша каждодневная речь преисполнена метафор, но мы и не замечаем их: настолько привыкли! «Лопатка», «глазное яблоко», «коленная чашечка»,— говорится о человеческом теле,— а ведь все эти слова перенесены на человека из внешнего мира. На основании верно схваченного подобия, на основании сходства, хотя бы в чем-то одном. Произвольная, натянутая метафора не приемлется языком народа,— верная удерживается на протяжении тысячелетий.

Здесь попутно, может быть, следует устранить одно возможное недоумение: разве к л ю ч и ц а так уж похожа на ключ?! Да, похожа. И даже очень. Только — на ключ, который применялся несколько веков тому назад: в Древней Руси. Когда в каком-либо историческом музее видишь такие ключи боярских и купеческих кладовых, то невольно подивишься меткости и этой метафоры!

Однако и обратный перенос — от человека на внешний мир, на явления природы, есть постоянное, мудро-поэтическое средство яркой и верной изобразительности в языке народа и его писателей. Примеров не перечесть!

Горные отвесные утесы по обеим сторонам реки — *щеки*. Морской залив при впадении большой реки в море — *губа:* Двинская губа, Мезенская губа. Уста — у человека, а отсюда и у реки — *устье*. Потому же и море — *дышащее*, а у Белого моря — *горло*.

Однако во́т что творится в этом «горле», по рассказу Шергина, который, как никто, владеет волшебством оживотворения, обладает далеко не каждому доступной тайною сильной и точной метафоры, столь свойственной, по его же прекрасному выражению, «живой, искрометной северной речи» поморов:

«Ни на дѐнь, ни на малый час и ни в какой мороз не установится сплошная льдина в Горле беломорском. От сотворения мира здесь спокою нет в неустанных ветрах, в быстрине течения... У Горловины каждогодно жди досады. И речная и морская льдина лезут в океан. Ты на промысел торопишься, и льдины дружка дружку давят, на простор спешат. Негораздные попутчики! Ах, да руками мах, а на том не перескочишь...»

Шергинское слово глубинно объемлет и грозные и светлые явления родной ему природы: ужасы и красоты необозримого ледового ада; бушующее Студеное море; ночное небо над ним, вдруг разверзаемое огненно-многоцветными завесами и столпами северного сияния: «Сполохи играют!» — говорят поморы.

Следуя изначальному свойству народного языка, Шергин наделяет человеческими страстями, чувствами и устремлениями даже ветры и льдины. И это звучит у него в высшей степени убедительно, так что невольно веришь, что оно так и есть. Все четыре ветра борются у него над морской пучиной: «О Веденьев день полуночник сюда надвинет тороса́ от Канина. Но ненадолго. Налетит встречный от Двины, и ветер с Запада, погонит тороса обратно. А север да восток опять свое, да пуще. Так зиму и воюют».

Тонкая, «молодая» льдинка у Шергина опасается столкновения с поморской ло́дьей, и ка́рбасом, а матерая — напротив: ты ее бойся! «Молодая льдинка осенью твоего судна боится, что тонка и хила. А весною ты ее боишься: отечную, матерую толкнешь, она тебе ребро, бортовину выломит». «Ребро», конечно, у корабля.

Богатство народного поморского словаря; глубочайшее, как подлинно у многоопытного морехода, знание северной «морской науки» и родного ему Студеного, дышащего, моря, непогрешительно-меткий глаз художника,— все это приводит к тому, что читаешь рассказы Шергина,— и начинает казаться тебе, что перед тобой воочию берега, и льды, и бушующие пучины...

Но и самые люди, что издревле, со времен «Господина Великого Новгорода», обладают этими берегами и мореходству-

ют,— короче говоря, поморы, предстают перед нами со страниц книг Шергина с не меньшей силой и зримостью, чем грозная и величественная природа, которая их объемлет и которой они мужественно противоборствуют на протяжении веков, свершая свои трудовые, сплошь и рядом смертельно опасные подвиги.

Ведь и отец Ломоносова был помор-кораблестроитель и промышленник, нашедший свою безвременную погибель на глухом островке в горле Белого моря,— не вернулся с морского промысла. Немало в правдивых повествованиях Шергина рассказано таких случаев!

Но есть у него один рассказ о таковом же событии, но с весьма, казалось бы, неподходящим заглавием: «Для увеселения», — не могу я его читать вслух, этот любимый у меня рассказ: слезы, подавляемые, пресекают мне голос. Да вот, послушайте, хотя и в простом и до предела стиснутом пересказе.

Двое поморов, братья Личутины — Иван и Ондреян, оба — плотники, но и дивные умельцы в резьбе по дереву, во время рыбного промысла своего заночевали на каменистом, голом островке среди пустынного моря. Утре собирались поплыть «на матерую землю» со своей промысловой добычей. Свой карбас они «поставили на якорь меж камней», вместе с грузом добытой рыбы, и легли спать. А была осень — ночью ударил шторм. Морской вал, «взводень» внезапно поднял и вырвал карбас «из каменных воротцев» и унес в море. Смертная погибель надвинулась на братьев. И они сразу поняли это: каменная грядка эта, а по-здешнему — «ко́рга», «лежала в стороне от расхожих морских путей». Осенью у этих пустынных берегов нечего было ждать, что пробежит, мол, какой-никакой корабль и спасет нас...

Есть было нечего. Все унесло в лодке. Пить? — а только то пей, сколько дождя или снега выпадет!

Перед лицом неминучей смерти не стали братья ни выть, ни плакать, ни руки заламывать, ни обземь биться: нет, они решили исполнить сперва святой обычай поморский — оставить посмертное о себе извещение, кто они такие, откуда родом и отчего погибли.

А на чем написать и чем? При поясах остались у того и у другого промысловые ножи. Да на голом-то камне — одна только столешница лежит, на которой они рыбу пластали и обедали: звено из поддона лодочного. Вот на ней-то и принялись Иван и Ондреян вырезать о себе посмертное слово. Но ведь как

сотворили они это! — диву даешься! Голову склонишь!.. Вспомнили в предсмертные краткосрочные дни свои братья Личутины высокое свое художество — резьбу и с помощью простых промысловых ножей не только дивным узором резным изукрасили сосновую столешницу-поддон, а и вырезали на ней в стихах краткое повествование всего, что с ними свершилось.

Шергин списал эту эпитафию,— не единственную ли в мире по своему духовному величию! И вот какой строфой она завершается:

...Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки.
Ондреян ухитрял раму резьбой для увеселенья,
Иван летопись писал для уведомленья:
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенски мещана.
И помяните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана...

Да, для увеселения!..

Борис Викторович Шергин посетил злополучную ко́ргу, на которой скончались голодной смертью братья Личутины, не один, а вместе с капитаном — помором Лоушкиным. В то время доска-столешница, изукрашенная дивной предсмертной резьбой братьев, была еще цела, только обомшела с краев, была иссечена ветром и морскими брызгами.

Причалили. Взошли на ко́ргу. Сняв шапки, в благоговейном скорбном молчании стали читать эпитафию...

Здесь я уже не могу пересказывать шергинские, высокого художества строки, завершающие рассказ!

«Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел — «на долгий отдых повалились».

Поплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели, и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над ме́лями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..

Обратно с Максимом плыли — молчали...»

Среди множества случаев, где мужество русского человека-помора противостоит угрозе неминуемой смерти в студеной бушующей пучине морской, есть у Шергина потрясающий рас-

сказ о мещанине посада Неноксы Афанасии Тячкине. Лихая непогода уже несколько дней носит по Белому морю опрокинутый вверх дном его карбас. Не один он в нем был, Афанасий. Но бóльшая часть товарищей его, ослабев, закоченев, не смогли удержаться за днище и утонули. Только он, Афанасий, еще держится. Мало того: уцепясь ногами за киль, то погружаясь в ледяную воду, то всплывая, он выцарапывает шилом на днище карбаса краткое, но исчерпывающее донесение: по какой причине погибли...

Вспомянуть еще и рассказ «В относе морском». Дружина поморская, артель, промышлявшая зверя морского, унесена на оторвавшейся льдине в океан: «Всего погибали мы в относе морском восемнадцать ден. Семь ден в Белом море, пять ден в Горловине, шесть ден в океане»,— заканчивает свое страшное повествование рассказчик, один из тех, что побывал в этом смертном «относе морском». Правда, им не дали погибнуть: всех спасли-таки, но уже в океане, полузамерзших, на грани смерти от голода и едва не повредившихся умом. Однако никто не поспел бы к ним на помощь, если бы вперед, и прежде всего, не спасла их собственная, нерушимая, от предков завещанная, братская поморская дисциплина, когда промысловая артель-дружина беззаветно повинуется каждому слову избранного ею старейшины, «юровщикá», а по отношению друг к другу живет и дышит, при выходе на морской промысел, тоже от времен Древней Руси воспринятой заповедью: в битве да в беде сам погибай, а товарища спасай!

Эти высокие черты русского характера: мужество перед лицом смертельной опасности, верность трудовому братству, а также издревле идущее искусство кораблестроения, мореплавания, резного художества, да еще, сверх того, звучание и поныне в народе Беломорского севера изустно исполняемых старин-былин о киевских богатырях, о князе Владимире,— все это, вместе взятое, изображает с непревзойденной силой и тонкостью слова Борис Шергин в своих рассказах из жизни поморов.

Но кто же они исторически, эти поморы, откуда они взялись на берегах Студеного дышащего моря, и почему они таковы?

В полном согласии с историей нашей Родины отвечает на этот вопрос поморское сказание о Софии Новгордской, начало которого приводит Шергин в рассказе «Запечатленная слава»:

«По слову Великого Новгорода шли промышленные лóдьи во все концы Студеного Моря-океана. Лóдьи гостева сына Ива-

на ушли дальше всех. Иван оследил нехоженый берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут, кряду, и ход урочный морской...»

Да, от «Господина Великого Новгорода» — так называли свой город сами новгородцы, гордясь его мощью и красотами,— издревле началось заселение пустынных, глухих берегов Белого моря и могучих рек, в него впадших: Онеги, Северной Двины, Мезени...

С XI—XII веков отважные промышленники и воины-мореходы Новгорода простирали власть своего града-республики на всю эту необмерную, никем до них не тронутую область, превышавшую простиранием своим все страны Европы, вместе взятые.

Весь край этот, и даже острова Соловецкие, считались одной из «пяти́н» Великого Новгорода.

Уже в XII—XV веках, повествует Шергин, русские люди своим умом-разумом строили суда «сообразно натуре моря Ледовитого». На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки — исполинские осьмиконечные кресты. Поперечины креста астрономически верно указали направление стран света.

Новгородцы и дети их — архангельские поморы науку мореплавания называли *морское знание*, а судовождение обозначали словом *«художество»*.

Новгород Великий — Афины Древней Руси! Город-республика, в которой, пускай, заправляли бояре-феодалы, да «золотые пояса» — купцы, да «владыка» — архиепископ, с князем, а все ж таки не отпихнуть было от градского, государственного кормила и огромную массу простых горожан-ремесленников, людей, чьи трудовые, искусные руки создавали основу жизни огромного города! А уж кого-кого только не было в этих новгородских цехах! Мельники и хлебопеки, кожевники и сапожники; плотники и краснодеревцы; серебряники и алмазники; плиточники и ваятели-гончары; корабельники и грузчики; портные и суконщики; железники и кузнецы; бронники и оружейники; рудокопы и доменщики; мыльники и салотопы, вощаники и медовары... Полно, перечислишь ли всё!

И грамота была в древнем Новгороде широко разлита́я, народная. Простой горожанин, и даже новгородские женщины, совсем не знатного сословия, запросто, по каким-либо хозяйст-

венным, житейским делам переписывались друг с дружкой берестяными грамотками. Около тысячи их, уцелевших в земле, найдены и прочтены советскими археологами во главе с Арциховским.

И разве не об этом говорит поморская былина о Василии Буслаеве:

Садился Васька наременчат стул,
Писал ярлыки скорописчаты...

С таким народом ладить приходилось, да и ладить! А нет — после бурного веча тряслись иной раз и бояре, и архиепископ, и князь в страхе за свою жизнь и достатки. Неугодных князей, бывало, и «простая чадь», «мизи́нная», то есть незнатные люди, изгоняли вон: «— Поезжай, князь, вон. Ты нам не надобен!..» И, как говорит летопись, «показывали ему путь от себя». Даже против самого Александра Невского — и то однажды выставили пять полков. Только благодаря мудрости и великодушию Александра удалось избегнуть кровопролития...

Ве́дом был Новгород во всех концах тогдашнего света. Обширнейшей была его торговля едва ли не со всеми странами. Переваливали уму непостижимое количество товаров между Индией и Европой. Завистное око немца, шведа, датчанина пялилось в кровавой слезе на неисчислимые богатства Новгородской боярской республики.

И опять-таки былина об этих несметных богатствах не случайно сохранилась до сих пор именно у поморов и доселе исполняется былинщиками-сказителями. Помните, как Садко «купец богатый новгородский», кичась неимоверным богатством своим, похвалился на пиру, что он, дескать, скупит в Новгороде «все худы товары и добрые». И помните, как посрамлен он был в этой похвальбе, ибо, как жалостно признается он сам, не повыкупить ему «товаров со всего да бела свету».

Многократно отшибали новгородцы хищную лапу то шведских конунгов и королей, то немецких рыцарей-феодалов. А и было чем: сорок тысяч конницы, сто тысяч пешего войска могли быть брошены на отпор врагу звоном вечевого невеликого колокола, одним зовом посадника!.. А затем, отразив недругов, распускали свое ополчение, и опять вольнолюбивый, несметно богатый, а подчас и многобуйный город продолжал жить своей обычной жизнью. Мирная трудовая, торговая, зодческая и книголюбивая жизнь прерывалась, однако, то и дело набегами и

походами новгородских «ушкуйников» (от древнего слова «ушкуй» — ладья, лодка) — и на Восток, и на Юг, и на Запад. Что — норманны! Да разве когда-нибудь досягали эти прославленные викинги Норвегии до Оби и Тобола?! А новгородские «Васьки Буслаевы» и там «рубили», то есть строили, крепкие острожки и волокли оттуда на санях, нартах, а летом — на лодьях, соболей, горностая, песцов и лисицу...

Вот приходит в Новгород скорбная весточка, что молодцов новгородских порубили где-то за Каспием.

— Что ж,— решали отцы города,— и на лежанке помирают! А молодым да удалым погулять, богатырски плечи размять потребно. Пускай привыкают! Чтобы имя господина Великого Новгорода стояло честно и грозно!..

Да уж куда грознее, если призывным, ратным возгласом новгородцев было:

— Кто против бога и Великого Новгорода?!

Вот чьими потомками являются поморы, с такой силой, любовью и правдивостью воспетые Шергиным.

Однако, помимо этого древнейшего новгородского наката русских первоселов Беломорья, на протяжении последних веков были и другие приливы.

В эти, и по сие время трудно доступные области Крайнего Севера, под защиту непроходимых дебрей, бесчисленных озер и трясин, русский трудовой народ уходил от боярской и княжеской кабалы.

В XIII веке — от Батыева нашествия. Оно бессильно было досягнуть сюда: военная сила татар была вся в неисчислимой коннице, а сквозь северные глухие леса ей невозможно было пробиться да и нечем было бы ее здесь прокормить.

И, наконец, третий огромный нахлын русского народа на берега Студеного моря происходит в последнюю четверть XVII века и в начале XVIII века, при царях Алексее Михайловиче и при его сыне Петре I. Уходили от жесточайших гонений на «старую веру».

Глава православной церкви при царе Алексее, патриарх Никон вздумал круто и самовластно подвергнуть исправлению старые церковные книги, которым следовала вся масса верующих на протяжении столетий. Исправления эти, однако, не во всем были верны, да и слишком беспощадна и оскорбительна для народных масс была предпринятая Никоном ломка. Царская власть пытками, кнутом, дыбой и страшными тюрьмами (сруб, обсыпанный землей) — поддерживала гонение на старую веру, на так называемых старообрядцев.

Они оказывали яростное сопротивление и уходили все дальше и дальше от царских властей в недосягаемые глухие дебри Севера.

Даже больше того: подвергали себя сомосожжению.

Так, в одном из старообрядческих скитов сожгли себя в деревянной церкви сразу несколько сотен человек.

Это мрачное место, где в тяжких муках погибало столько жертв религиозного фанатизма, и до сих пор можно видеть...

Но не только религиозный фанатизм был всему тому первопричиной! Нет, в основе старообрядческого мятежа лежало все нараставшее и нараставшее в трудовом русском народе возмущение против царей и господ.

Недаром в 1681 году, в Кремле, где обитал тогда сам царь, старообрядцы разбрасывали с высоты Ивана Великого «листовки», говоря по-нынешнему, где всячески поносили царя. Сочинителем этих «крамольных» воззваний был не кто иной, как протопоп Аввакум, зачинатель старообрядческого бунта, сидевший уже в земляной тюрьме в Пустозерске на реке Печоре, при самом впадении ее в море. Выносить из тюрьмы воззвание Аввакума и отправлять их в Москву тайно помогали стрельцы, его сторожившие, единомышленники «огнепального протопопа», как прозвали его впоследствии, когда он вскоре же вслед за кремлевским бунтом был сожжен «за великие на царский дом хулы».

Что самая суть старообрядческого сопротивления в народе была именно в мятеже против царя и его властей, а вовсе не в церковных распрях,— это видно уже из того, что и Степан Разин, а через сто лет после него Емельян Пугачев — оба гениальных вождя крестьянских войн против царей и господ — звали народ постоять и за «старую веру».

Войскам царя Алексея на протяжении восьми лет не удавалось взять восставший Соловецкий монастырь, где заперлись не только монахи, стоявшие за старую веру, а и множество окрестных поморов, да к тому же и немало бойцов из войск Степана Разина, чей мятеж был к тому времени подавлен огромной армией царя, в составе которой был и полк наемных иноземцев.

Осажденный монастырь был взят лишь через предательство. Начались пытки и казни...

Так вóт сколь гордый, мужественный и непоклонный народ исторически сложился на Белом море и по берегам великих рек, в него впадающих...

Но это лишь одна сторона. Ныне доказано, что и Соловецкий монастырь, и поморские скиты русского Севера были очагами издревле унаследованной русской культуры,— не только «корабельного художества», мореплавания, деревянного зодчества (вспомним хотя бы Кижи!), но и всякого иного художества: живописи (в ту пору неизбежно — иконной), резьбы по дереву и кости, и «книжного делания», в котором неразрывно совмещалось и самое переписывание от руки старинных и древних сочинений, и дивное «изукрашение» страниц книги многокрасочными изображениями.

Исследованиями советских ученых, специалистов по древнерусской литературе, за последние десятилетия открыты на дальнем «поморском» Севере целые «материки» старинной и древней письменности.

Здесь нет возможности обстоятельно говорить об этом. Достаточно будет сказать, что экспедициями Пушкинского дома в Ленинграде, руководимыми известным ученым Владимиром Ивановичем Малышевым, создано богатейшее в мире собрание древних и старинных рукописных книг, вывезенных главным образом из очагов поморского обитания. Число «единиц хранения», как выражаются работники музеев, достигает в этом собрании пяти с половиною тысяч!

Это открытие столь богатых остатков древней русской книжности, словно бы чудом сохраненных простым трудовым народом поморского Севера, само по себе изумило ученый мир. А в частности, скажем попутно, по-новому вынуждены мы теперь объяснять явление Ломоносова.

Мы знаем теперь, что отнюдь не на пустом месте, в смысле образованности и культуры, родился и возрастал великий помор!

Скажем несколько слов о том, почему с такой глубиной познания и таким искусством художественного слова Борис Викторович Шергин живописует природу и людей поморского Севера.

Биография писателя не входит в мою задачу. Поэтому ограничусь лишь необходимым для ответа на поставленный выше вопрос.

Отец Бориса Викторовича, потомственный, коренной помор, был «корабельный мастер первой статьи» и в течение ряда лет состоял главным механиком Мурманского пароходства.

В дни ранней юности и Борис Шергин неоднократно хаживал на парусном поморском судне из Белого моря в океан.

В семье Шергиных и среди друзей отца, почти сплошь корабельных мастеров и мореходов, царило сыновнее поклонение

родной Земле и великому русскому слову. Здесь благоговейно чтили предания и сказы о подвигах и деяниях предков. Ста́рины (то есть былины), исторические и семейно-бытовые старинные песни различнейшего содержания звучали и в доме Шергиных, и в морских промысловых походах, в которых принимал участие и юный Борис Шергин. В своих воспоминаниях писатель так говорит об этом: «Легендарные истории, сказки, былины — все, что поражало мое воображение, я любил повторять и дома и где-нибудь в кругу сверстников».

Тут кстати будет сказать, что Шергин — этот истинный классик русской литературы, писатель, в собственном смысле этого слова, обладает в то же время редчайшим среди литераторов даром устного исполнения не только былин и старинных поморских песен (иной раз — под гусли), но и устно, часами, на память, может исполнять свои прозаические произведения.

В это трудно было поверить. Но однажды, лет пятнадцать тому назад, он в Союзе писателей целых три часа, на память, исполнял перед нами свои уже напечатанные рассказы. Мы слушали зачарованные. И слушали бы еще. Но «отпустили» Бориса Викторовича, когда увидели, что он изнемог...

О рассказах Бориса Шергина давно уже тоскует хрестоматия русской художественной литературы! Взять хотя бы такие вещи, как «Рождение корабля» (этот рассказ особенно любил Горький), «Для увеселения», «Двинская земля», «Поклон сына отцу», «Евграф», «Слово о Ломоносове», «Долг». Сколь велики и воспитующие и художественные достоинства этих вещей!..

Иной раз, правда, приходилось мне слышать возражение: язык-де Шергина труден для юношества. В нем очень много областных слов... Что ж! — как будто и впрямь немало. Но — полно! — хочется мне сказать в ответ на такие попреки,— не пора ли нам, в дни, когда литература стала достоянием народа, а не одной лишь кучки «избранных», оставить это дворянское «чистоплюйство».

Но — еще раз — вернусь к Буслаеву. Вот какую хвалу посвящает он областным словам:

«Литература новая, последних ста лет, более и более отрываясь от родной почвы, усвоила себе и язык, отвлеченный от русского быта, язык искусственный, выработанный литераторами. В противоположность стеснительным границам языка литературного, народный язык до бесконечности разнообразен в своих местных видоизменениях. Он обладает всеми свойствами первоначального, свежего дара слова: свободен в производстве и образовании слов, необыкновенно чувствителен в соче-

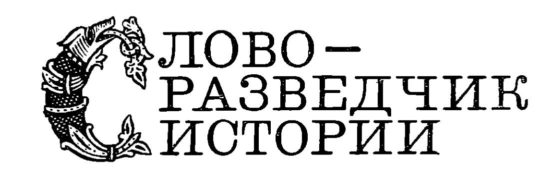
тании звуков для выражения непосредственных впечатлений, прост и ясен в синтаксическом сложении, составляющем так называемый русский склад, и наконец упорен и неподатлив чуждому влиянию...»

И далее: «Провинциальные говоры не искажают первоначального организма русского языка, а только развивают его богатство, и потому все вместе составляют величественное целое, которое мы называем народным русским языком».

Какие мудрые и справедливые слова! Впрочем, ныне, пожалуй, и нет надобности в таком щите для «архангельского», поморского языка. Это — кристально чистый, искони русский язык, богатейший по своей изобразительной силе, и не вина русского народа, что мы, горожане, поотвыкли от него!

Когда я читаю Шергина, я испытываю чувство, подобное тому, какое испытывает путник в знойной пустыне, изнемогший от мучительной жажды и вдруг припавший пересохшими устами к студеному, утоляющему и чистейшему источнику.

III



СЛОВО — РАЗВЕДЧИК ИСТОРИИ

ИСКРЫ ИСТИНЫ

В течение многих лет я изучал памятники русского эпоса, и устного и письменного, от былин до «Слова о полку Игореве». Занимался и древнерусскими летописями. И надо прямо сказать: труды русских ученых здесь поистине беспримерны. Они внушают чувство благоговейное. Однако есть и «огрехи» в этой всем нам дорогой области. Речь у меня и пойдет о некоторых неверных прочтениях и толкованиях в отдельных памятниках русского эпоса. Ошибиться может каждый. Но когда ошибся авторитет, то ошибка закрепляется, передается по наследству. А между тем некритическое отношение к традиционному прочтению и толкованию наносит вред науке.

Но прежде несколько слов о вероятнейших причинах, которыми порождались и порождаются ошибки.

Во-первых, это — пренебрежение к происшедшему за века (или за многие десятилетия) сдвигу значения русских слов, их семантики. Во-вторых, невнимание к особым грамматическим оборотам древнерусского языка, которые ныне, в современном языке, вымерли. В-третьих, наконец, забвение некоторых слов, бытующих в так называемом просторечии.

А застойность ошибок, проистекающих от всех этих трех причин, обусловлена традицией, боязнью ломки привычного.

1

Иной раз перевод с древнерусского на современный русский язык таит для переводчиков больше опасностей, чем перевод с немецкого или английского. Это не парадокс. При переводе с чу-

жестранного языка переводчик, как правило, очень настороже́н, тщателен. Он кропотливо выверяет семантику каждого слова, он считается и с первым и с прочими значениями чужестранного слова. Не то при переводе с древнерусского. Помилуйте! Язык-то ведь наш, родной, и так все понятно, чего тут мудрить! Этим, кстати сказать, объясняется то легкомыслие, с которым многие, даже и не знающие ни словаря, ни грамматики древнерусского языка, берутся за перевод «Слова о полку Игореве». Зато нигде нет такого количества неверных прочтений, как здесь. И печальнее всего, что ложные прочтения в «Слове» и до сих пор удерживаются. Но об этом далее. А сейчас приведем несколько слов и речений древнерусского и старославянского языка, из которых и неспециалисту будет ясно, сколь обманчивой может оказаться «понятность» древнерусского текста.

Слово «озлобить» означало: причинить кому-либо зло, «оскорбить» — сделать кого-либо скорбным. «Развратник» нередко означало: еретик, мятежник, отступник, а вовсе не распутник. Выражение: «Праведное, праведное гоните!» совсем не означало, что надлежит враждебно преследовать, гнать праведное, а напротив, это место переводится так: «Праведное, праведное ищите!» Слово «вещь» нередко в старославянских текстах, например в Библии, переводится, как «слово». След этого остался и по сие время в нашем языке в слове «вещать», то есть говорить. Примеров этого сдвига значения слов за столетия можно привести сколько угодно.

Иногда встречаешь ошибки удивительные, прямо-таки необъяснимые в таких ученых трудах по древнерусскому языку, которые и призваны-то к жизни именно необходимостью уберечь от ошибок и всех и каждого, кто трудится над летописями и вообще древнерусскими памятниками. Я говорю об изданном в 1937 году Академией наук СССР (Институт истории) труде профессора Г. Е. Кочина «Материалы для терминологического словаря древней России». Там на странице 31-й составитель комментирует следующий текст летописи: «И поидоша полкы половецкые яко борове». Это выражение ничего другого не может означать в переводе, как: «И пошли полки половецкие, как боры». Ибо *«борове»* есть именительный падеж множественного числа от слова «бор». «И мнози борове изгорахуся сами и болота»,— сказано в «Повести временных лет» под 1092 годом. Означает это, вне всяких сомнений, только одно: «И многие боры загорались сами и болота» (была засуха, бездождие). В русских летописях вражеские бессчетные полки очень часто уподобляются борам, то есть хвойным лесам. Это общее эпическое

место, это поэтическая идиома, застывшая метафора, и, надо признать, неплохая. Вот еще пример этому. «Иноплеменницы собраша полки... и выступиша *яко борове велиции*» (Ипатьевская летопись под 1111 годом), то есть иноплеменные полки были столь многочисленны, что уподобляются не просто бору, а бору большому. Или еще: «Поидоша полкове аки борове, и не бе презрети их» (Повесть временных лет под 1103 годом); на современном русском языке это опять-таки означает: «Пошли полки, как боры, и нельзя было обозреть их!» Иного перевода не может и быть.

Что же делает лексикограф, переводя эти тексты? «Борóве» осмысляет как... боровы, свиньи. «Боров — ср. *свинья. И поидоша полки половецкие яко борове»*,— пишет исследователь. Можно бы спросить лексикографа: неужели он думал, что в другом летописном тексте, где «сами возгорались» многие «борове» и «болота», речь идет о том, что загорались наряду с болотами свиньи, боровы?!

В этом же «Терминологическом словаре» есть не менее явная и досадная ошибка, следствие непрочтения. Существовало в древнерусском языке слово «рай», означавшее сад, цветник. Именно в этом значении большое количество текстов со словом «рай» приводит академик И. И. Срезневский в своих «Материалах для словаря древнерусского языка» (т. III, «Рай»). Например, «сотворих вертограды и *рая* и насадих в них древеса...»; «зане и врач не егда по *раем* и по цветом водит стражающая...»; или: «всяческих древес насадив плодовитых... яко подобно густых лес, *рай* нарече...» и т. д. и т. д. Однако в словаре профессора Кочина мы нигде не нашли слова «рай», зато на странице 312-й нашли диковинное слово «саморай», которого он и сам не смог перевести и ставит под вопросом. А между тем нет сомнения, что в тексте, который дал лексикографу «основание» выделить такое слово, оно получилось из слияния двух слов: *«самъ»* и *«рай»*. Вот неиспорченный и вполне осмысленный текст, где эти два слова уясняются. Речь идет о том, что сам Юрий Долгорукий называл *«раем»* свой двор за Днепром. В Ипатьевской летописи мы читаем под 1158 годом, как восставшие киевляне после смерти князя разграбили его загородный дворец: «Разграбиша двор его красный и другый его за Днепром разграбиша, его же звашеть *самъ раем*».

Кажется, все ясно: «который называл сам раем». Но комментатор предпочел извлечь слово «саморай» из этого же самого текста, но только в явно испорченном виде. Древние памятники писались нередко без разделения слов; это обстоятель-

ство порождало впоследствии многие неверные прочтения; переводчики то неверно членили текст, то неверно сливали два слова в одно. Понятно, как при соответствии полугласного «ера» (ъ) звуку «о» получалось «самораем» вместо «самъ раем». Повторяю, ошибка усугубляется тем, что оный издатель нигде не дал в своем словаре слова «рай», которое подлинно являлось земледельческим термином Древней Руси, а вот «саморай», на который, за исключением испорченного, нет у него ни одного летописного текста, внес в словарь древнерусских терминов!..

2

Перейдем к примеру искажения памятника устного эпоса благодаря непрочтению. Причиной же этого непрочтения, как мне кажется, является забвение народного словаря. Речь пойдет не о какой-нибудь, а о самой, так сказать, заглавной былине — «Вольга и Мику́ла». Заглавной я назвал ее потому, что, как нигде, в этой былине выражено истинное могущество трудового народа, его превосходство над князьями с их дружиною. Пахарь-крестьянин выходит здесь победителем из состязания с князем Вольгою, который к тому же еще обладает всеми колдовскими мудростями.

Обессмысливанию подверглось одно из прекрасных мест былины: пропало двойное сопоставление, параллелизм состязавшихся всадников: пахаря («ратая») и князя. И эта порча утвердилась уже около ста лет, от первых записей былины.

Вы помните это состязание конями, где дважды сопоставляется быстрота крестьянской кобылки с быстротой княжеского коня и где оба раза превосходство оказывается за крестьянской лошадкой?

Первое сопоставление:

А у ратая кобылка, она рысью идет,
А Вольгин-то конь да поскакивает...

Второе сопоставление:

А у ратая кобылка, она *грудью(?)* пошла,
Там Вольгин-то конь *оставается.*

Не вызывает недоумений первое сравнение: когда кобылка Микулы пошла рысью, то княжескому коню приходится туго — ему уж надо скакать. А вот что́ означает *«грудью пошла»*? И почему в ответ на эту «грудь» княжеский конь должен уже отстать?! Смысла в этом втором сопоставлении никакого! Между

тем здесь вместо «грудью» надлежит читать «грунью». Ибо, как гласит словарь Даля, «грунь...— тихая конская рысь, малая рысь, побежка между *ходою и полной рысью»*. Это старинное народное слово известно и кавалеристам, это их термин. Толковый словарь Даля приводит это слово в таких речениях *«Грунью пóля* (лета, века) не избегаешь. Сотня пошла на *грунях. Грунить* — ехать рысцой, слегка рысить. *Грунистая* лошадь, ходкая мелкой рысью. Иди *грунистей*! — прибавь груни, рыси». Стоит принять это исправление — и параллелизм восстановлен!

Вряд ли требуется умножать доказательства. Однако, считаясь с тем, что фольклористы находили какой-то смысл в этом «грудью», придется привести еще некоторые доводы. В русском языке существует, кроме слова *«грунь»*, еще и слово *«ступь»*. И это также *ездовой термин*. Даль поясняет: «ступь» — самая тихая походка... Ехать ступью, шажком... «А сибирское «ступь» — ходá, самый шибкий шаг». Итак, мы имеем две степени быстроты, две ходы лошадиные: самая тихая — это «ступь», а чуть быстрее — «грунь». И представьте себе, что в другой записи былины «Вольга и Микула», также сделанной Гильфердингом, мы находим слово «ступью».

У оратая кобылка *ступью* пошла,
А Вольгин конь да ведь поскакивает...

Чудесно! Дальше ожидаешь от кобылки перехода на «грунь», и тогда понятно, что княжеский конь отстанет и вовсе, но... и в этой записи снова мы видим все ту же нелепую «грудь»:

У оратая кобылка *грудью* пошла,
А Вольгин конь да остается.

Любопытно, что Л. Н. Толстой в своей «Русской книге для чтения» исключает слово «грудью» начисто. Однако есть у него слово «ходой», а «груни» тоже нет. Мне кажется, что Толстой признал «грудью» бессмыслицей, а слово «грунь» не захотел ввести, как редкое неупотребительное и школьникам непонятное. Но ведь «грунь» — это одна из разновидностей «ходы». У Толстого так:

Мужикова кобылка ходой идет,
А Вольгин-то конь уж поскакивает;
Мужикова кобылка рысцой пошла,
А Вольгин-то уж конь оставаться стал...

Во всяком случае, здесь бессмыслицы «грудью» нет. И параллелизм сохранен, последовательный, «двухстепенный».

Мне скажут: но так, дескать, записал Гильфердинг. Возможно. Но, во-первых, не надо в художественном эпическом произведении русского народа жертвовать смыслом, а следовательно, и поэзией, ради точной фонетической записи. Что за фетишизм! Отметьте в специальных сборниках, что сказители говорят «грудью», а для школ, для массового читателя исправляйте на «грунью», поясняя, что́ это означает.

Беда в том, что специалисты фольклора как-то даже ухитряются осмыслить это ничего не значащее «грудью». Так, например, В. Я. Пропп в своей книге «Русский героический эпос» специально комментирует данную строфу былины и все-таки не замечает нелепости слова «грудью», не видит порчи параллелизма.

3

Я упомянул, что непрочтение некоторых грамматических оборотов древнерусского языка также порождает ложные переводы на современный язык. Особенно «посчастливилось» в этом смысле «Слову о полку Игореве». Стоит привести здесь один-два разительных примера.

Был в древнерусском языке так называемый родительный **беспредложный** при глаголах, означающих движение, например: «бежать кого» вместо «от кого». Он уцелел еще и у Пушкина: «Зачем бежала своенравно она семейственных оков» (Мария в «Полтаве»). Предлог «от» здесь Пушкиным отброшен. Вспомним песню «Среди долины ровныя», написанную в начале XIX века Мерзляковым. Там есть такие слова «Одних я сам чуждаюся, другой *бежит меня* (нынче мы говорим с предлогом «от»: «бежит от меня»). Древнерусское назидательное речение *«зла подвизайся»* есть также пример такого родительного беспредложного при глаголах движения, и каждый сведущий в древнерусской грамматике переведет единственно так: «от зла беги, удаляйся», ибо «подвизатися чего-либо», или «подвижитися чего-либо», означает удаляться от чего-либо, устремляться прочь от чего-либо.

Но, странное дело, фразу «зла подвизайся» почти каждый переведет правильно: «зла беги, от зла беги». Но вот уже 150 лет совершенно аналогичная конструкция: «вежи себя подвигли» (подвизашася), что означает: *«от вежи* половецкой *отдалились* или *устремились прочь»* (беглецы во главе с Игорем),— 150 лет эта фраза переводится неверно. Переводчики и комментаторы упорно отказываются видеть, что слово «вежи»

здесь являет нам замечательный образчик **родительного беспредложного при глаголах движения.** Они думают, что «вежи» это есть подлежащее во множественном числе от слова «вежа», то есть шатер, кибитка. А на самом деле «вежи» есть дополнение, а подлежащее здесь — **беглецы во главе с Игорем** — логическое, подразумеваемое подлежащее!

Итак, «вежи ся половецкия подвизашася» надлежит переводить только так: *«от вежи половецкой отдалились»*, или: *«устремились прочь, отбежали»*. Такой перевод находится в полном согласии с летописным рассказом о бегстве Игоря из половецкого плена. Известно, что за Игорем половцы присматривали. Но вот князь поддался на уговоры Овлура, полурусского-полуполовца: мать Овлура была русская. Они условились бежать ночью. Овлур ждал князя за рекою Тором, держа наготове коней. Половцы «напились бяхуть кумыса» и заснули. Игорю был подан сигнал к бегству. Он с великой осторожностью поднял полу своей вежи (шатра, кибитки) и «лезе вон», то есть вышел. Само собой очевидно, что князь через весь половецкий стан шел не один, а в сопровождении своих помощников и сообщников из свиты: трудно предположить, чтобы Игорь сам, один, решился пройти через лагерь и перейти речку Тор. И вот естественно, что беглецы сперва *отдалились от вежи, устремились от нее прочь.* И уж только потом, за рекою Тором, где Овлур ждал с конями, Игорь сел на коня, как про то и говорится в «Слове».

Против такого перевода один из комментаторов «Слова» смог выставить лишь единственное возражение: если бы, возражал он, подлежащее было беглецы, то глагол-сказуемое стоял бы не во множественном числе, а в двойственном, ибо беглецов-то было двое: Игорь и Овлур. Стало быть, в «Слове» мы имели бы, дескать, «подвизостася» (двойственное), а не «подвизашася» или «подвизошася» (множественное).

Возражение противоречит историко-лингвистическим фактам: как раз древнерусским памятникам XII—XIII веков очень свойственно **смешение двойственного и множественного числа.** Об этом у академика Соболевского в его «Истории русского языка» есть даже специальный раздел со множеством примеров сочетания двойственного числа подлежащего со множественным числом глагола-сказуемого. Итак, единственное возражение отпадает. Какие же у нас резоны портить бесценный памятник русской поэзии старым и несуразным переводом?

В чем же несуразность старого перевода? Судите сами: «Вежи ся половецкии подвизашася» до сих пор переводятся так: «Вежи (шатры) половецкие зашатались», либо «задвига-

лись», или «заколыхались». Не говоря о непрочтении родительного беспредложного при глаголах движения, подобными традиционными переводами «живописуется» шумная картина ночного бегства Игоря. Известно, что Игорь крался, стараясь пройти половецкий стан неслышно, он был «ужасен и трепетен». Ясно, что Овлур свистом своим и, возможно, условным стуком оземь подавал потаенный знак к бегству Игоря. Но смотрите, какой грохот, гром устраивают из этого потаенного бегства наши переводчики: «Кликнул — застучала земля, восшумела трава, вежи половецкие задвигались».

Да как же это половцы не проснулись и тотчас же не схватили Игоря?!

...Так пренебрежение к специфическим оборотам древнерусского языка приводит к неправдоподобному, «бутафорскому» переводу одного из тончайших мест «Слова» — ночного бегства Игоря из половецкого плена!

4

Микроскопическая тщательность с учетом и первого, и второго, и третьего значения, которое могло быть присуще данному древнерусскому слову, учет всего семантического гнезда, памятование всех исчезнувших ныне грамматических оборотов вознаграждаются щедро! Исследователю может выпасть счастье раскрыть через эту неуклонную скрупулезность никем не подозреваемые красоты и даже особый политический смысл того или много места в древнерусском памятнике, который, казалось бы, изучен вдоль и поперек.

В 1093 году Владимир Мономах, тогда еще молодой князь, вместе с младшим братом своим Ростиславом, весьма юным, ходили на половцев и потерпели поражение. Несчастный исход битвы вынудил их к поспешному отступлению. На пути оказалась речка Стугна. Было самое половодье, и Стугна сильно разлилась. Очевидно, бросившись через нее вплавь, юный Ростислав утонул на глазах старшего брата... И об этом событии устами Игоря вспоминает в своей великой поэме автор «Слова о полку Игореве».

Напомню читателям, при каких обстоятельствах это происходит. Уже спасшийся от погони половцев, Игорь воздает радостную хвалу реке Донец. Князь хвалит Донец за то, что он укрывал его, беглеца, от врагов, лелеял его и стерег. И тотчас же, как бы по контрасту, Игорь обрушивается с обвинениями на

другую реку, а именно на Стугну, и припоминает ей минувшее злодеяние: то, что она утопила Ростислава. В первом печатном издании 1800 года это порицание реки передано так (следую новой орфографии): «Не тако ли, рече, река Стугна худу струю имея, пожерши чужи ручьи и струги ростре на кусту. Уношу князю Ростиславу затвори Днепрь темне березе. Плачется мати Ростиславе по уноши князя Ростиславе». Начиная с перевода Майкова, который работал при консультации известного лексикографа И. И. Срезневского, установили обычный перевод фразы «Уношу князю Ростиславу затвори» как: «Юношу князя Ростислава замкнула, поглотила, пожрала, заключила». Некоторое время и я следовал общепринятому переводу этого места. Но вот уже в изданиях «Библиотеки поэта», и в малой и в большой сериях, вышедших в 1953 году, я дал новый перевод и осмысление этой строфы, причем оставил свой перевод без всяких комментариев. Меня стали попрекать «произволом» перевода. Между тем это не только не произвол, а *точный* перевод, раскрывающий глубокий политический смысл данного места поэмы.

Почему же не удовлетворяли меня старые переводы — «замкнула, поглотила» и т. д.? А вот почему. За скорбным и гневным тоном попрека реке Стугне, утопившей русского князя Ростислава, чудилось мне нечто большее, чем просто порицание за то, что она утопила его. Какой-то особенный смысл сквозит во всем этом, думалось мне. У гениального автора «Слова» ничего нет прямолинейного, плоского. Разве «так просто» противопоставил он поведению реки Стугны поведение Донца?! Ведь в этом сопоставлении двух русских рек, несомненно, скрыт какой-то высокий замысел поэта. И зачем это автор «Слова» устами Игоря особо подчеркивает, что река Стугна «пожрала» не какие-либо, а «чужие» ручьи?!

«Перебрав по косточкам» прежде всего всю семантику слова «затвори», то есть «затворила», я — представьте мою радость! — увидел, что в древнерусском и старославянском языке фраза «затворить» кого-либо имела еще один смысл, который, бесспорно, куда более подходит для истинного осмысления места со Стугной и гибелью Ростислава, а именно,— значение *«предать»*. И разом все осветилось! И отсвет этот сам собою озарил и смысл выражения *«чужие* ручьи».

Итак: «Уношу князю затвори» надо переводить как «Юношу князя предала». Возьмем два старославянских текста, где «затворити» дано именно в этом значении. 1. «Благословен Господь Бог твой, иже затвори мужей, воздвигших руки своя на

господина моего царя» (Книга Царств II, гл. 18, стих 28). А вот этот же текст в синодальном переводе: «благословен Господь твой, *предавший* людей...» и т. д. 2. «И *затвори* во оружии люди своя и достояние свое презре» (Псалом, 77, стих 62). И опять-таки в параллельном тексте перевод мы видим такой: *«Предал* мечу народ свой...» и т. д. Наконец, в древнерусском памятнике «Хождение по мукам» сказано, что на первом месте в аду будет мучиться тот, кто *«предал* Христа», а на втором — «кто суседа (то есть ближнего) своего *затворил».* То есть опять слово «затворил» дано как синоним слова «предал».

Но, однако, ведь сказано, что река Стугна «затворила» *ему*, а не его,— что сие значит? Этот необычный оборот вызвал целый ряд неверных и наивных переводов данного места в «Слове». Некоторые переводчики решили, что здесь «ему» есть обычный, нынешний дательный падеж, как, например, «он ему открыл дверь», и переводят так, что «река Стугна затворила князю Ростиславу Днепр», одна река затворила другую! На самом же деле здесь особый древнерусский оборот, ныне исчезнувший: «дательный вместо винительного». Вот, например: «Аще же аз возмогу *одолети ему»* (Книга Царств I, гл. 17). Или: «вси *похвалиша ему»* вместо: одолеть *его*, похватиль *его*. Целый ряд глаголов в древнерусском языке требовал после себя дополнения в дательном падеже вместо обычного винительного. Так было и с глаголом «затворити».

Я сказал, что сделалось понятным, после верного прочтения «затворила» как «предала», почему Игорь попрекает Стугну *чужими* ручьями. Достаточно вспомнить здесь указание исторической географии: река Стугна в XI—XII веках была *пограничной* рекой. Один берег ее был захвачен *половецкими ордами,* а другой был владением киевских князей. И вот, когда началось половодье, то река Стугна приняла в себя чужие, *вражеские* ручьи, потоки *с половецкого берега,* она как бы стала «чуждой по крови». Поэтому-то она и предала русского князя!

Река, обвиняемая в государственной измене!.. А ей противопоставлен Донец. Вот какую огромную по смыслу метафору дает нам великий поэт в своем противопоставлении двух рек!

...Помню, я с давних пор хотел посмотреть, какая она, эта река Стугна, в которой утонул юноша Ростислав. И вот во время состоявшегося в Киеве Всесоюзного съезда по восточнославянскому эпосу я отправился в пешее путешествие по Стугне. Был конец июня. Стугна была не шире нашей подмосковной Сетуни, ее можно было в некоторых местах попросту перешагнуть. «Трудновато здесь утонуть! — подумалось мне.— Оче-

видно, в XI веке она была куда полноводнее!» Я высказал эти свои сомнения украинским колхозникам, которые с большой и сочувственной любознательностью слушали рассказ о событиях и лицах, воспетых в «Слове». Надо сказать, что любовь украинского колхозника к родной истории, к ее поэтическим памятникам воистину заслуживает глубокого уважения! Тогда, сопровождая меня по Стугне, они заставили прочесть им «Слово о полку Игореве» и в подлиннике и в переводе. И не только слушали мои комментарии, но комментировали «Слово» и сами. Так вот, когда я, вспомнив о гибели Ростислава в их Стугне, сказал, что уж больно «тоща» эта речушка, то один из колхозников возразил мне:

— А вы сюда приезжайте-ка в разлив, тогда она вон до того ветряка разольется,— тут не то что ваш Ростислав, а целый полк утонет!..— Он показал при этом ясно видимые грани половодья на берегу.

Этот разговор происходил возле хутора Ганны Винниченко, на берегу Стугны. Я хотел пройти еще дальше, сколько успею засветло. И тогда спутники мои сказали:

— Пройдите до Малой Салтановки, а до Большой Салтановки вам далеко будет!..

При этих словах мне так и вспомнилось из дифирамба Ярославу Осмомыслу: «Стреляеши с отня злата стола салтаны за землями!..» Так вот они где кочевали, салтаны-то половецкие!..

Другой «дядько» — типичный запорожец: седые усы опущены долу, подбородок обрит,— долго молчавший, сказал (жалею, что не могу здесь передать его слово во всей прелести его родной украинской речи!):

— Видно, где-то здесь утонул несчастный тот Ростислав, коли он от половцев утекал: там вон Великие Половцы — районный центр, а там, глядите, Малые Половцы!

И мне еще яснее стало, что именно скорбный попрек русской реке, разбухшей от «чужих», половецких, вод, а потому и предавшей своего, русского, князя, заключен в сопоставлении Донца и Стугны...

Перейдем к заключительному примеру.

Речь пойдет о пресловутом «призвании варягов». Мы не станем касаться здесь самого́ этого явно измышленного происшествия, тем более что уже говорили об этом. Но если можно не считаться всерьез с этой разоблаченной легендой о трех братьях-варягах, то надо рассеять и тот след в языке нашем, в житейских афоризмах, поговорках, который оставлен ею. Я говорю о привычном «присловьи»: «Земля наша велика и обильна, а *по-*

рядка в ней нет». Именно так будто бы и сказали «трем братьям» новгородские старейшины, призывая их княжить. Независимо от сомнительности самого факта призвания варягов, все-таки летописец якобы счел возможным сказать, что у нашего народа порядка не было, а следовательно, народ наш жил в «беспорядке», в хаосе, в неурядице.

И здесь невольно возникает вопрос: а как же могла быть великой и обильной земля, в которой царил хаос, беспорядок?!

К счастью, это застоявшееся искажение истории трех братских народов произошло всего-навсего от неверного, хотя и традиционного, прочтения летописного текста. *В подлиннике нигде даже и нет слова «порядок».* А есть слово «наряд». Но это слово означало совсем иное, чем порядок. Вот в чем суть! «Земля наша велика и обильна, *а наряда* в ней нет»,— такова, буквально, летописная запись под 862 годом.

Что же означало в Древней Руси слово «наряд»? Вот Владимир Мономах говорит, что он «*ловчий наряд* сам есмь держал». Вот под 1173 годом в Ипатьевском списке летописи сказано, что некий воевода Борис Жидиславич «*наряд весь* держал». В «Софийском Временнике» под 1532 годом говорится: «а *нарядчик* был Дмитрий Сырков».

И нигде, решительно нигде мы не встречаем в летописи слово «наряд» как порядок, то есть стройное государственное управление, противоположное беспорядку, хаосу, развалу.

«Наряд» обозначало совокупность княжей администрации. А во-вторых, распоряжения, опять-таки в их совокупности.

Известно, что Новгород писал «ряд» то с одним, то с другим князем, строго ограничивая его функции. Князь для Новгорода, откуда бы он ни «призывался», был, по сути, наемным воеводой, иногда судьей. А если обнаруживал поползновения стать узурпатором, то князя изгоняли: «Ты, князь, собе, а мы — собе! И показаша ему путь от себя». На место изгнанного приглашали себе другого, и тот приезжал к ним со «всем нарядом» своим.

Около 862 года было, очевидно, изгнание очередного князя из Новгорода, и на некоторое время Новгород оставался без «наряда», то есть без администрации княжеской. Только и всего!

Нам известно, что уже около этого времени «ряд» с князьями и изгнание неугодных князей были в ходу у новгородцев. Так, покняжил у них и Святослав, и сын его Владимир, и Ярослав Мудрый. Князья были «нарядчиками» в этом городе.

Главное зло неверного перевода слова «наряд» состоит в таком умозаключении, что раз не было порядка, значит, было

нечто противоположное, а именно беспорядок, бесчинство, развал, неурядица.

А между тем известно, что в эти времена древнерусский народ уже выделялся среди других народов своей государственной мощью, богатыми городами (скандинавы называли Русь «страной городов»), развитой грамотностью (вспомните хотя бы берестяные новгородские грамоты, начиная от XI века, найденные во множестве А. Арциховским именно в Новгороде).

Новгородцы имели вечевое устройство, как и другие большие города на Руси. А это было для тех времен весьма прогрессивным устройством.

Поэтому не должно нам мириться с традиционным, но заведомо ложным переводом одного из ответственных мест нашей Начальной Летописи.

РОДИНА АХИЛЛЕСА

В сравнительном языкознании, в этой «археологии слов», историческая наука обрела одно из могущественных и почти непременных орудий дознания исторической истины. Теперь это стало чем-то заурядным в работе историка. Но вот в 1839 году, когда известный русский историк Михаил Петрович Погодин посетил в Варшаве знаменитого лексикографа Линде, то изъяснение некоторых слов, представленных историку польским лингвинистом, вызвало у Погодина восхищение, отразившееся и в «Дневнике» его: «Линде занимается теперь составлением сравнительного Словаря Русского и Польского, обращая внимание на Чешский и прочие Славянские наречия, а равно и на другие древние и новые языки, преимущественно Восточные... Линде прочитал мне несколько слов... Я был просто в восхищении. Вот новый источник для истории народов, источник, о котором не могли и помышлять наши отцы... Вот где заключается древнейшая история народа — как молоды перед нею летописи!» [1]

Этому направлению отдал посильную дань и я, будучи с давних пор привержен к славистике, истории моего отечества и

---

[1] М. П. Погодин. Год в чужих краях, М. 1844; «Варшава, 15—22 января».

родного мне русского языка. Само собой разумеется, что, применяя древнерусское слово (например, слово керчий, что означало кузнец), в качестве «разведчика истории»,— я никоим образом не противополагал языковой способ ни истории материальной культуры, ни свидетельствам летописей и вообще источниковедению, в самом широком смысле. Напротив, только сопрягая все эти орудия познания исторической истины, можно с бо́льшим или меньшим успехом совершать увлекательнейшие путешествия на «машине времени» в ту необозримую область, увы, не подвластную нам, которую поэтически принято было именовать «далью веков». Это — самоистина, как говаривал наш великий лексикограф Даль, поясняя слово «аксиома».

Эллинистический мыслитель III века до нашей эры, Эвгемер, в своем трактате «Священная хроника» высказал замечательную мысль, что «мифология — это облеченная в чудесное история» [1]. Суждение это как нельзя более оправдалось применительно как раз к Трое, к сказаниям Гомера и вообще к древнегреческим сказаниям и мифам.

Здесь уместно будет сослаться на слова отнюдь не дилетанта, а известного эллиниста, профессора В. Сергеева: «Наряду с археологией первостепенное значение имеет упоминание о Крите и других центрах Эгейского мира в гомеровских поэмах и в сочинениях античных историков (Геродота, Фукидида и др.) и затем греческие мифы, содержащие в себе зерно исторической правды. Сюда относятся мифы о царе Миносе и его брате Радаманте, афинском царе Эгее, афинском герое Тезее, грандиозном сооружении Лабиринте, страшном чудовище Минотавре, Ариадне, искусном художнике Дедале и др. На прочном фундаменте материальной культуры, воздвигаемом археологией, прежде малопонятные мифы и легенды приобретают ценность первостепенного исторического документа» [2].

Этих предваряющих слов, я полагаю, будет достаточно, чтобы читатель, неприкосновенный к исторической и лингвистической науке, без предубеждения встретил выводы моей «разведки» об Ахиллесе, о Троянской войне, столь тесно связанные с древнейшей историей русского народа, «народа Рос».

Впервые это исследование читано было мною в виде доклада на заседании Тавроскифской экспедиции АН СССР, по при-

[1] В. Сергеев, История Древней Греции, М., Соцэкгиз, стр. 369.
[2] Там же, стр. 13.

глашению возглавлявших эту археологическую экспедицию П. Н. Шульца и В. П. Бабенчикова, осенью 1948 года. Затем Редакция местного альманаха «Крым» поместила мой доклад в № 3, 1949 года.

В первом томе трудов академика Василия Григорьевича Васильевского, известнейшего византолога и слависта, в статье «Византия и Печенеги» имеется решительное утверждение ученого, способное вызвать удивление, и даже неприязненное, у некоторых. Вот оно, полностью, это утверждение Васильевского:

«Никто другой, кроме русского князя, не может разуметься под князем Мирмидонян (подчеркнуто мною.— *А. Ю.*) уже потому, что он живет за Дунаем. Мадьяры у Атталиоты называются Сарматами, а имя Русских он ни однажды не употребляет говоря (многократно!) о Русской земле и Русских князьях. Сверх того (указание, сделанное нам А. А. Куником[1]), к объяснению, почему Атталиота русских называет Мирмидонянами, быть может, служит то место у Льва Диякона, где он говорит о сходстве погребальных обрядов у воинов Святослава и у древних греков. Эти обычаи ведут свое начало от спутников Ахиллеса. Ахиллес был Скиф, родом из Мирмикиона, города на Меотийском озере (между Керчью и Еникале, по Палласу). Светлые волосы, голубые глаза и другие признаки служат доказательством, что Ахиллес был Скиф и даже Тавроскиф (подчеркнуто Васильевским.— *А. Ю.*), то есть Русский»[2].

Категоричнее некуда!

И поневоле приходится, во устранение вполне естественных недоумений, в самом сжатом виде представить широкому кругу читателей облик этого ученого, его, так сказать, весомость, воспользовавшись для этого словами, посвященными его характеристике другими знаменитыми историками.

Академик С. Ф. Платонов в некрологе о Васильевском писал в 1900 году:

«Византия сама по себе и в ее отношениях к Древней Руси была предметом его собственных занятий и любимою темою специальных курсов... Разносторонняя ученость и широта умственного кругозора заслуженно ставят В. Г. Васильевского во главе целой ученой дисциплины — византиеведения...

[1] Так же академик, историк.

[2] Труды В. Г. Васильевского, изд. Академии наук, СПб., т. I, стр. 29.

...Он обладал удивительным талантом вычитывать в сухих летописях то, чего другие не замечали...

...Васильевский был удивительный человек по необыкновенно счастливому сочетанию умственной силы с моральной красотой...»

Ему принадлежало, говорит далее академик Платонов, «центральное и главенствующее положение среди наших византийцев» [1].

А вот — суждение о Васильевском другого знаменитого историка, автора «Киевской Руси», академика Бориса Дмитриевича Грекова, написанное уже в наше, советское время:

В. Г. Васильевский «изучал Византию, чтобы понять Древнюю Русь... Круг его источников исключительно широк. Он хозяин не только в византийских источниках, но и в русской летописи, и в материалах арабских, грузинских, армянских и др... Он дал нашей науке так много нового и ценного, что мы вправе сказать (это не будет преувеличением), что наша наука в вопросах древности может быть разделена на два периода — до и после работ В. Г. Васильевского...

Скромность и добросовестность, доведенные до высших пределов,— вот основные черты Васильевского как исследователя» [2].

Итак, по утверждению академика Васильевского, Ахиллес — Тавроскиф, то есть русский. Еще называется он в «Илиаде» «князем мирмидонян». Но, оказывается, народ Мирмидоны, бесчисленный, по сказанию древних греческих авторов, как муравьи, это опять-таки одно из названий того же самого русского народа, который обычно именуется у древних греков еще и — Тавроскифы. Название Мирмидоны происходит от греческого слова «мирмекс» — муравей, именно в силу многочисленности русского народа.

Это смелое и безоговорочное суждение столь высокого авторитета исторической науки резко выделяется против обычного робкого, где избегают говорить о древности русского народа (не государства!), а предпочитают выражаться осторожненько: «прарусичи», «предки русского народа» и т. п. И получается забавнейшая вещь: едва ли не всякому народу легко приписывается архидревнейшее существование — и в I и во II тысячелетии, и даже — в III до нашей эры, а русский народ невесть откуда взялся, ему почему-то отказано в столь древнем существовании.

---

[1] С. Ф. Платонов, В. Г. Васильевский, СПб., 1900, стр. 4, 5, 6.

[2] Б. Д. Греков, Избранные труды, т. III, стр. 449.

Академик В. Г. Васильевский первый не побоялся сказать, что не какие-то там «предки русского народа», а именно русский князь во главе своей русской дружины участвовал... в осаде Трои, в союзе с ахейцами, или данайцами, как в поэмах Гомера именуются древние греки.

Взгляды академика Васильевского в этой области всегда вызывали во мне сочувственное внимание на протяжении многих и многих лет. Исследуя множество древних источников, я искал подтверждения этих его высказываний. И мне, кажется, удалось внести некоторый новый вклад в этот вопрос, что́ и запечатлелось в упомянутом выше докладе моем на заседании Археологической экспедиции АН СССР осенью 1948 года, и затем в статье «Родина Ахиллеса».

Краткая выдержка из этой моей статьи вводит нас в сердцевину моей работы:

«Напрасно, думается мне, обходят древнерусский язык и при объяснении слова «Керчь»: Корчий, или Керчий попросту означало на древнерусском языке кузнец. Корчиница, или керчиница — кузница. Если принять это толкование слова «Керчь», то к нему примкнет и историческая геология, ибо знаменитые железные руды Керчи, открытые, поверхностно лежащие, разрабатывались (конечно, примитивно) еще в древние времена. По-видимому, тут стояли кузницы — «керчиницы». Тут обитали древнерусские, тавроскифские кузнецы — «керчии», или «корчии». Очень важно, что в древнерусских памятниках *Керчь* называется Корчев (притяжательное от корчий), иначе говоря, Корчев — Кузнецк... И вдруг неожиданно проясняется одно из чудеснейших мест «Илиады», а именно — об изумительных, непроницаемых доспехах Ахиллеса, которые выковал ему хромой кузнец Гефест. А чудесными, по моей догадке, они казались микенцам, осаждавшим Трою, оттого, что у русского «архонта» (то есть князя) они были не медные, а кованы из керченского железа».

Следует четко сказать, что этих разысканий, раскрывающих материально-историческую основу мифа «Илиады» о непробиваемых доспехах Ахиллеса, нет ни у академика Васильевского, ни у кого-либо из числа исследователей гомеровского эпоса. А именно такого рода ссылки — в одном беллетристическом произведении на Васильевского, а в другом — на некоего капитана, которого вдруг «осенило», и представляют, в частности, искажение и вульгаризацию моего исследования, о котором я считаю необходимым упомянуть.

* * *

А теперь перейдем к более широкому обзору, во-первых, тех свидетельств, которые позволили академику Васильевскому прямо назвать Ахиллеса русским князем, а во-вторых, и к обзору тех оснований, которые позволили и мне, подкрепляя доводы названного ученого, предложить свое, материально-историческое раскрытие гомеровского мифа о непробиваемости кольчуги Ахиллеса.

Дабы устранить недоверчивость широких читательских кругов, естественную здесь, ввиду непривычности излагаемых утверждений, я считаю полезным дать предпосылку из такого труда, который и в наше, советское время считается стоящим на уровне современной науки и представляет собою как бы стабильное руководство для высшей школы по истории античного мира. Речь идет о книге профессора В. Сергеева «История Древней Греции».

«Под историей античного или древнего мира обычно понимают историю древних обществ Средиземноморья до конца Римской империи (V в. н. э.)... В настоящее время историю Средиземноморья начинают за несколько тысячелетий до н. э. Собственно же античная (греко-римская) история начинается с конца II тысячелетия до нашей эры, с так называемой Гомеровской эпохи» (стр. 3).

Троянская десятилетняя война и осада Трои данайцами (они же и ахейцы, микенцы, или аргивяне) — это события конца XII века *до* нашей эры [1].

Из каких же источников мы узнаем об этом? «К сожалению, наши сведения как в отношении Малой Азии, так и вообще в отношении всей Греции за четыреста лет (XII—VIII вв. до н. э.), со времени Троянской войны до начала традиционной истории Греции, скудны и противоречивы. Почти единственным источником этой эпохи являются поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» (стр. 47).

Что именно узнаём? «Из «Илиады» и «Одиссеи» мы можем извлечь указания на то, что в конце XII века (до н. э.) микенский царь Агамемнон предпринял генеральный поход на Трою, объединив басилеев (царей) всех, как больших так и малых,

[1] «Греки же, как целый народ, называются в поэмах Гомера разными именами: ахейцы, аргивяне, данайцы» (С. И. Соболевский, Древнегреческий язык, М. 1948).

греческих общин — от Крита и Родоса до Кефаллении, от Пилоса до Додоны» (стр. 44).

Союзное войско ахейцев было, по тогдашним временам, необычайно огромным. «Илиада» перечисляет множество союзных басилеев, пришедших со своими дружинами помогать главному предводителю всей коалиции, «царю царей» Агамемнону, царствовавшему в Микенах и обладавшему сильнейшим флотом:

Всех же бойцов рядовых не могу ни назвать, ни исчислить,
Если бы десять имел языков и десять гортаней,
Если б имел не слабеющий голос и медную грудь...

На помощь грекам, против Трои, где царствовал басилей Приам, поднялось почти всё Средиземноморье. Участвовали и союзные, негреческие племена и островов, и Пелопоннеса. А в числе таковых союзников, как мы уже знаем, поднялся против Трои и архонт, то есть князь тавроскифов, иначе говоря, мирмидонян, сиречь русских, Ахиллес «богоравный»,— эпитет, который придает ему Гомер, наряду с эпитетом «быстроногий».

Известно, что Трою штурмом взять не удалось, так как и Приам, и главный троянский военачальник и грозный боец, его сын Гектор — созвали своих союзников — басилеев малоазиатских княжеств, примыкавших к Троаде.

Началась изнурительная десятилетняя осада «крепкостенной» Трои; в течение этой осады один за другим гибнут в сражении почти все, воспетые в «Илиаде» богатыри с той и другой стороны.

Чем же так, однако, Троада, с ее столицей Троей, досадила всей Древней Греции и почти всему Средиземноморью?

Поэмы Гомера предлагают нам объяснение, сказать по-современному, чисто романтическое: сын царя Приама, несравненный красавец Парис, нарушив долг дружбы, соблазнил супругу одного из ахейских царей Менелая, и она, Елена Прекрасная, убежала с Парисом в Трою. Из-за прекрасной женщины этой и началась Троянская война, закончившаяся гибелью Трои.

Но, естественно, что наш современный взгляд ищет иной, более глубокой, историко-материальной причины, экономической, и для этой войны XII века до нашей эры,— войны, которая так страшно потрясла все Средиземноморье, надорвала силы Ахейского союза, в первую очередь Микен, где царствовал Агамемнон, и навсегда уничтожила Трою.

«В походе ахейских басилеев под Трою торговые соображения играли далеко не последнюю роль»,— сказано в «Истории Древней Греции» на странице 8-й; а далее справедливо указано, что Греция была бедна хлебом: «Значительно хуже дело обстояло с хлебом. Для большинства греческих областей местного хлеба не хватало, и его приходилось закупать в других хлебородных областях — на Черном море (Понт), в Египте и в Сицилии. В течение всей истории Греции хлебный вопрос стоял в центре внешней и внутренней политики греческих общин. Многие крупные войны Греции велись из-за овладения понтийской (т. е. черноморской. — *А. Ю.*) и сицилийской хлебными дорогами» (стр. 8). Наиважнейшим поставщиком зернового хлеба в почти бесхлебную Грецию были издревле северные берега Черного моря, а в частности, и Керченский полуостров, где во времена Троянской войны и царил «архонт народа Рос, или Тавроскифов», Ахиллес. Во времена Боспорского царства на этих же хлебообильных берегах Черного и Азовского морей (V в. до н. э.) были тавроскифские портовые города, богатевшие от вывоза хлеба в Грецию. Так, «известно, что один только боспорский царь Левкон отправил через феодосийский порт в Афины 5 миллионов пудов хлеба»[1].

Древнее название Черного моря — Понт (греческое «Понтос» означало морской путь): «Греческое pontos первоначально означало не просто море, а открытый путь, предлагаемый морем корабельщику» (Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, изд. 3, § 149, стр. 62). Это как раз и соответствует тому историческому факту, что Черное море было путем богатейшего торгового обмена между народами Средиземноморья и народами Черного моря. В то время древние античные писатели именовали его Русским морем, и это, как справедливо и остроумно заметил Ломоносов, не потому, чтобы русские корабли не плавали по нем!

А теперь, после всех этих предваряющих справок общепринятого значения, разверните историко-географическую карту древнего мира, где бы начертаны были оба эти моря, вместе с проливами — Дарданеллами и Босфором,— и вы сразу поймете, почему царь Агамемнон и его союзники воспылали такой страшной ненавистью к Трое и наконец

[1] Г. А. Цветаева, Сокровища причерноморских курганов. Изд. Института археологии АН СССР, М. 1968, стр. 63.

решили во что бы то ни стало стереть ее с лица земли. Отыщите на карте Трою, и вы увидите, что она стоит близко к берегу Дарданелльского пролива, угрожающе нависает над этим жизненно необходимым для Древней Греции путем хлебного подвоза, да и вообще всего торгового оборота ахеян с народами Причерноморья,— и, стало быть, в ее власти было в любое время перекрыть эту «дорогу жизни» и обречь Грецию на голод и разорение. Троя паразитически богатела, хотя бы одними торговыми пошлинами на мимо проходящие через проливы корабли с хлебом и другими грузами.

Одновременно вам станет ясно, почему и басилей, архонт, то есть князь Тавроскифов Ахиллес, правивший в Крыму, оказавшись со своими пятьюдесятью кораблями в Греции, а именно в Беотии, примкнул к врагам Трои и отправился ее осаждать во главе своих тавроскифов, или мирмидонян. Да и не только он один, а и все князья, правившие скифами-земледельцами, соразделяя с ним власть, и даже будто бы изгнавшие его из Крыма (Тавриды) за яростную склонность к войне. Действия троянцев задевали всех басилеев Тавроскифии, подрывали благосостояние всего «народа Рос». Недаром «отец истории» Геродот неоднократно отмечает издревле высокое у этих «скифов» развитие хлебопашества и даже... хлеботорговли (конечно, с Грецией): «Скифы-пахари, которые сеют хлеб не для собственного употребления, а для продажи»[1].

Знаменательно, что это исконное земледелие оседлых скифов-пахарей утверждается даже и преданием о том, что на заре их существования Зевс сбросил им с неба золотые дары: плуг, ярмо для волов, секиру и чашу (для пиров, само собой разумеется). Это предание записано Геродотом, который, кстати сказать, сам путешествовал среди этих скифов, по берегам Черного моря и по Днепру[2].

Восточнее же обитали скифы-кочевники. Но не о них речь!

Однако вернемся к Ахиллесу. Было упомянуто, что его прочие князья изгнали из Тавриды за его воинственность и «высокомерие». Это известие содержится у греческого историка Арриана (II в. н. э.) в его «Перипле», то есть «Морском Путешествии». Но это как будто противоречит тому, что Ахиллес был

---

[1] Н. И. Надеждин, Геродотова Скифия, объясненная через сравнение с местностью, Одесса, 1842, стр. 17.

[2] Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, СПб. 1893, т. I, стр. 12.

чрезвычайно могуществен именно как властелин, стоящий во главе большого войска,— как же могли его изгнать прочие «басилеи»?

Тут следует вспомнить, что эпоха, в которой он подвизался, была как раз временами так называемой «военной демократии», применяя термин марксистской историографии:

«Одним словом, выражение basileia, которое греческие писатели употребляют для обозначения гомеровского так называемого царства (потому, что его главный отличительный признак — военное предводительство), наряду с советом и народным собранием (подчекнуто мною.— *А. Ю.*), означает только военную демократию (Маркс)» [1].

Нет ничего мудреного, что слишком властолюбивого и воинственного князя совет прочих «басилеев», вместе с народным собранием, мог и подвергнуть изгнанию. «Илиада» дает нам ярчайшие изображения таких народных собраний, во время которых не щадили и самого Агамемнона, «царя царей».

Но, однако, следует посчитаться и с тем, что известие об изгнании Ахиллеса из Крыма волею прочих князей содержится лишь у Арриана, и вполне возможно принять, что Ахиллес отбыл в Грецию как раз из стратегических соображений: чтобы его флот (50 кораблей!) успел, ввиду предстоящего похода на Трою, пройти заранее через Дарданеллы и очутиться на свободном просторе Средиземного моря. Иначе троянский флот мог бы и воспрепятствовать проходу его кораблей через проливы. А тогда мирмидоняне и не смогли бы присоединиться к своим союзникам — ахейцам. Это вероятнее всего.

Теперь, в подкрепление взглядов академика Васильевского следует представить выдержки, из которых неотвратимо ясно будет, что сами древние греческие писатели разных веков ставили знак равенства между понятиями народ Рос, Тавроскифы и Мирмидоны. Мало этого, мы увидим сейчас, что некоторые из этих древнегреческих писателей и тысячу лет тому назад не обинуясь объявляли князя Святослава (и княгиню Ольгу) и Ахиллеса «архонтами» одного и того же русского народа.

Здесь опять-таки повторяю: речь идет не о каких-то там «отдаленных предках славян», о «прарусичах», ибо всякому понятно, что русский народ Киевской Руси — это... русский народ!

---

[1] Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Партиздат, 1938, стр. 102.

Приведу прямые свидетельства древнегреческого историка Льва Диакона, который, как полагают, мог вполне быть даже свидетелем исторического свидания князя Святослава с греческим императором Иоанном Цимисхием на Дунае в 972 году, когда между ними был заключен мир. Рассказывая о том, как византийский император подсылал к Святославу своего патриция Калокира с коварными целями, названный древнегреческий историк пишет:

«Почтив достоинством патрикия наглого и неосмотрительного Калокира, он послал его к Тавроскифам, которых народ обыкновенно называет россами»[1].

Яснее некуда! Равнозначность для греков терминов русские и тавроскифы не подлежит сомнению. Автор «Киевской Руси» так высказывается об этом: «Лев Диакон один только раз говорит о Руси, а обычно пользуется для обозначения Руси термином «Тавроскифы» (стр. 239). Академик Греков считает даже одной из первейших научных заслуг академика Васильевского именно то, что он «доказал, что тавроскифы и Русь — термины, семантически (то есть по смыслу) родственные»[2].

Еще бы не родственны, когда равнозначность этих терминов утверждается на каждом шагу! Вот, к примеру, тот же Лев Диакон Калойский, описывая битву князя Святослава с греками, пишет:

«Тавроскифы, сомкнув щиты и копья наподобие стены, ожидали их на поле сражения» (VIII, 9).

Передав пламенный призыв Святослава к своему войску: «У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славою»,— греческий историк завершает свой рассказ такими словами: «Говорят и это о тавроскифах, что они до сих пор никогда живыми не сдавались врагам, но, потеряв надежду на спасение, вонзив меч в живот, они убивают себя» (IX, 8).

Знаменательно, что, по свидетельству опять же самих древнегреческих писателей, топонимика северного Причерноморья, то есть названия местностей, сохраняла в их время целый ряд наименований в честь и память Ахилла: «Ахиллов бег», «Ахиллий», «Ахиллов остров». На этот остров Черного (иначе Русского моря у древних) мать, богиня Фетида, по-

---

[1] Лев Диакон, кн. IV, 6.

[2] Б. Д. Греков, Избранные труды, т. III, стр. 451.

родившая сына от брака со «смертным», с царем мирмидонян Пелеем, и перенесла будто бы душу Ахилла. Погиб он под стенами Трои, на берегах Дарданелл, а культ его на протяжении тысячи лет царит в Крыму, в низовьях Днепра (Борисфена), где обитали «Скифы-пахари» и «царственные Скифы», и — вплоть до нижнего течения Дуная!

Чужого так не чтут! — «Ахилл, ты, который владычествуешь над Скифской землей»,— восклицает древнегреческий поэт Алкей» [1].

О переносе убитого сына матерью-богиней далеко-далеко, на север, древнегреческий писатель VIII века до нашей эры говорит, среди прочих: «И после этого Фетида, похитив у костра (погребального) тело сына, переносит его на Белый Остров»[2]. Там она его оживляет, и Ахиллес на протяжении веков живет и является даже (тем, кто достоин) гостеприимствуя мореходам и предупреждая их об опасности.

Нетрудно понять, что легенда эта опять-таки говорит о том, что родиной Ахиллеса древние считали северное Причерноморье. Князь росов, тавроскифов, мирмидонян был для греков (данаев, ахеян) несомненно чужим и лишь только союзным полководцем. Это с неотвратимой явственностью предстает перед каждым, кто внимательно прочтет «Илиаду» и «Одиссею».

«Черные корабли» мирмидонян стоят особо от греческих. Этот союзный народ то и дело противопоставляется ахеянам. Ахиллес, единственный, отваживается подняться против главы ахейцев — Агамемнона. Мало этого, когда оскорбленный отнятием у него прекрасной пленницы Брисеиды, Ахиллес перестает участвовать в битвах с троянцами, и положение греков стало плохое,— то целые посольства знатнейших данайских мужей и сам, наконец, «царь царей» Агамемнон, униженно умоляют его сменить гнев на милость и снова, во главе «своих мирмидонян», выйти в бой. И чего-чего только не обещает ему глава ополчения: и золотом нагруженные корабли, и возврат Брисеиды, и — даже руку своей собственной дочери!

К сожалению, эти строфы «Илиады» слишком объемны, чтобы приводить их здесь. Но вот — другие, из которых вполне очевидно, что Ахиллес отнюдь не грек, а пришелец из далекой страны, союзник могущественный, но гневно-строптивый и гордый. Не стерпев обиды, он собирается отплыть на родину, «в край мирмидонцев»:

[1] Известия древних писателей... СПб. 1893, т. I, вып. 1, стр. 195.
[2] Там же, стр. 325.

«Ныне черный корабль на священное море спустим»,—
говорит он «мирмидонцам своим».
«Но мирмидонцам своим расходиться Пелид не позволил».
«Царь Ахиллес к мирмидонским своим кораблям быстролетным
Гневный отшел, и при нем Менетид с мирмидонской дружиной».

Укоряя его, что он увел свое войско и хочет уйти из-под стен Трои, ахейский витязь Аякс говорит:

«...Ахиллес-мирмидонец.
Дикую в сердце вложил, за предел выходящую гордость».

В своем горделивом и гневном упорстве Ахиллес резко и четко противопоставляет «мирмидонцев своих» грекам, уверенный, что его-то никакой «Гектор-мужеубийца» победить не сможет:

«Я, объявите ему, не помыслю о битве кровавой
Прежде, пока Приамид броненосный, божественный Гектор,
К сеням уже и широким судам не придет мирмидонским,
Рати ахеян разбив, и пока не зажжет кораблей их.
Здесь же, у сени моей, пред моим кораблем чернобоким,
Гектор, как он ни неистов, от брани уймется, надеюсь».

Наконец мудрый греческий старец Нестор обращается с мольбою к «мирмидонянину» Патроклу, верному и самозабвенно любимому другу Ахилла:

«Пусть он отпустит тебя и с тобою в сражение вышлет
Рать мирмидонскую...»

Между Ахиллом и Патроклом, вошедшим в его шатер, происходит гениально запечатленная беседа, из которой опять-таки видно, что греки — чужие Ахиллу и что «богоравный» ждет вестей с родины и тоскует о ней:

«Может быть, что мирмидонцам иль мне объявить ты имеешь?
Может быть, весть о домашних из Фаи один ты прослышал?
Может быть, ты об ахеянах тужишь, что так злополучно
Подле своих кораблей за неправду свою погибают?» —

гневно-насмешливо спрашивает Ахилл Патрокла. А тот, бесхитростный и светлый душою, отвечает:

«В бой отпусти ты меня и вверь мне своих мирмидонян!»

Гневный вождь отвечает:

«Гнев мой не прежде смягчу, как уже перед собственным станом,
Здесь пред судами моими раздастся тревога и битва.
Ты, соглашаюсь, моим облекися оружием славным,
Будь воеводой моих мирмидонян, пылающих боем...»

Но в то же время наказывает своему другу, что как только Патрокл отгонит Гектора и троянцев от мирмидонских кораблей, так чтобы он прекратил дальнейшее сражение, а греческое войско предоставил бы вновь собственному его мужеству и боевому искуству:

«Вспять возвратися ко мне, кораблям даровавши спасенье;
Рати ж ахеян оставь на полях боевых **истребляться**».

Мы знаем, что Гектор убил Патрокла. Сразив его, предводитель троянцев произносит над телом умирающего такие слова:

«Верно, Патрокл, уповал ты, что Трою нашу разрушишь,
Наших супруг запленишь и, лишив их священной свободы,
Всех повлечешь **на судах в отдаленную землю родную!**»

В отдаленную землю! И — на кораблях! Этим, уже и с преизбыточностью, еще раз доказана чуждость грекам, «пришлость» их грозного союзника — тавроскифа, мирмидонянина, «архонта народа россов», единоплеменника «архонта Святослава» и «архонтисы Ольги».

В этой же мрачно-торжественной речи над поверженным врагом «медноодетый Гектор» называет и Патрокла — «мирмидонянин»:

«— Что, мирмидонянин, ты предвещаешь мне грозную гибель?»

Известно, что Гектор-мужеубийца поразил Патрокла в место, не закрытое чудесным доспехом Ахиллеса.

Патрокл убит. Скорбный гнев и желание отомстить за него клокочет в груди Ахиллеса. И все же, все же он медлит и не выходит в сражение. Страждет он страшно. Его свита боится, что вот-вот он покончит с собою, удерживают его руку, схватившую оружие. Мать-богиня рыдает над ним и сожалеет, что:

«Юного в **быстрых судах** отпустила на брань к Илиону».

Ахиллес, прерывая рыдания, говорит матери:

«О, да умру я теперь же, когда не дано мне и друга
Спасть от убийцы! **Далеко, далеко от родины милой**
Пал он; и верно, меня призывал, да избавлю от смерти!
Что ж мне в жизни? **Я ни отчизны драгой не увижу,**
Я ни Патрокла от смерти не спас...»

Причину, в силу которой он медлит кинуться в битву, он вскоре сам объясняет «богине Ириде»:

«Ей ответствовал вновь быстроногий Пелид знаменитый:
— Как мне в сражение выйти? Доспех мой у них, у враждебных!
Матерь же милая мне возбранила на бой ополчаться
Прежде, поколе ее возвратившуюсь здесь не увижу,
Мне обещая принесть от Гефеста доспех вожделенный.
Здесь же не ведаю, чьим мне облечься оружием крепким».

И в самом деле, мать-богиня Фетида, утешая, обещала ему, что она слетает к богу кузнецов Гефесту и упросит его сделать новые непробиваемые доспехи вместо снятых с Патрокла его убийцей — Гектором:

«Завтра я рано сюда с восходящим солнцем явлюся
И прекрасный доспех для тебя принесу от Гефеста».

Однако перейдем к более широкому обоснованию моего материально-исторического раскрытия гомеровского мифа о чудесных, не пробиваемых никаким вражеским оружием доспехах Ахиллеса.

* * *

Мать Ахиллеса исполнила свое обещание. Бог-кузнец Гефест внял ее мольбам. У ее сына — вновь не пробиваемые никаким вражеским оружием доспехи,— непробиваемые потому, что у всех решительно: и у греков, и у троянцев — и метательные копья, и мечи, и панцири — медные или бронзовые; и только у одного Ахиллеса доспехи железные, стальные. Они выкованы тавроскифскими кузнецами для своего князя. Кто же не знает, что против железа, против стали, и медь, и бронза *мягки!* Открытие железа было огромным переворотом для древней критомикенской, а затем и для гомеровской эпохи.

Читатель уже знает, что языковая разведка привела меня к выводу, что слово керчь (собпрательное) означало на древнерусском языке кузницы, а «керчий» — кузнец.

Мать-богиня туда и летит, на север, в «Скифию, которая морозна и холодна», как сказано в «Схолиях к Пиндару» [1]. Здесь, над многочисленным, как муравьи, народом тавроскифов-мирмидонян владычествовал ее сын.

Гомер дает изумительнейшее описание ковки стальных доспехов. Она многотрудна, даже и для бога-кузнеца!

[1] Известия древних писателей... СПб. 1893, т. I, вып. 1, стр. 330.

«Рек — и от наковальни великан закоптелый поднялся,
Снял с горна меха и снаряды».

Железо ценилось куда выше золота. И особенно «скифское железо». Это был термин, обозначавший высшее качество.

Трудно и перечислить все свидетельства древних об этом!

«Скифский народ, в земле которого добывается *лучшее железо*»[1].

«...Раскапывая железоносную твердую землю, они выменивают доброе железо на жизненные припасы... Среди черной копоти и дыма исполняют они свою тяжелую работу»[2].

У Эсхила (V в. до н. э.) и в «схолиях», то есть комментариях к нему, сказано: «Многолюдные племена Скифов, которые населяют край земли вокруг Меотийского озера» (Азовское море). «В Скифии, в которой впервые найдено железо...»[3]. «В железе скифском, то есть происходящем из Скифии, ибо там добывается железо...»[4]. А еще скифское железо именовалось «понтийским», то есть черноморским.

Даже у Аристотеля (V в. до н. э.) мы находим изумительное высказывание о скифском железе, и при этом о поверхностно лежащем, что опять-таки заставляет нас думать о керченских месторождениях: «И только одно это железо не подвергается ржавчине; но добывается оно в *незначительном* количестве»[5].

В то время, когда у всех героев «Илиады» оружие меднобронзовое (далее мы приведем эти указания Гомера),— у Ахиллеса не только латы, но и оружие его было железное, стальное. Об этом Гомер с изумительной точностью не забывает сказать даже в той строфе, где Ахиллеса, неистово скорбного после смерти Патрокла, близкие удерживают от самоубийства:

«И Ахиллеса, стенящего горестно, руку держал он, Антиох младой,
В страхе, да выи **железом** себе не пронзит он...»

И новые доспехи Ахилла, взамен утраченных, бог-кузнец Гефест, совместно с другими «керчиями», выковывает ему также из железа («седое железо»), хотя на украшение и доспехов и

[1] Известия древних писателей... СПб. 1893, т. I, вып. 2, стр. 338.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 341.
[5] Там же, стр. 384.

оружия пошло и серебро, и золото, и медь. Поэтому новый шлем Ахиллеса — «четверобляшный».

А теперь в беглом обзоре, ибо упоминаний этих слишком много, посмотрим, как Гомер изображает латы и оружие греков и троянцев.

Вот несчастный супруг Елены Прекрасной, царь Менелай грозится:

«Прежде, чем Гектора лат на груди у него не расторгну,
Медью пробив...»

И даже сам «шлемоблещущий Гектор великий»,— даже и тот держит «в руках два копья медножалых».

Все ахейцы в целом названы меднолатными: «и всем меднолатным ахейцам».

Этот эпитет повторен Гомером, когда Гектор прощается со своей супругой Андромахой:

«Тебя меднолатый ахеец, слезы лиющую, в плен повлечет». Сын Гектора «яркою медью испуган». «Взревела вся медь щитовая». «Далеко на пике сияло медное жало». «Медные брони врагов разбивая». «Сами же спешно в медных доспехах». «Бились с дружинами Трои и с Гектором меднодоспешным». О Гекторе: «И сиял он ужасно медью, которой одеян был весь». «Ратоборцы ахейские многих медью сразят». «Но Мерион на бегущего медной стрéлою ударил». «Шлемная медь не сдержала удара...» «Бросился Гектор вперед, ополченный сверкающей медью». «Блестящие медью ахейцы». «И многие мужи-ахейцы двигались в медном оружье, горящий костер обходили».

Этих ли выдержек не достаточно?! И опять повторяю: история материальной культуры, говоря о гомеровских временах Средиземноморья, удивительнейшим образом подтверждает эти сказания Гомера. Что же из всего этого следует? Очень и очень многое!

Теперь нам становится ведомо, что не только пшеницею наши предки-пахари кормили всю Древнюю Грецию, но также и тó, что они же — народ Росс, тавроскифы, мирмидоняне во времена Троянской войны, то есть три тысячи лет тому назад, славились и черной металлургией, говоря по-современному, были зачинателями добычи железа и выплавки стали!

Становятся более нам понятны слова многих и многих древних историков о необычайном, и прежде всего, военном неодо-

лимом могуществе Скифов. Так, знаменитый историк Пелопоннесской войны Фукидид (V в. до н. э.) свидетельствует после восхваления «царства Одрисов»: «Но по военной силе и количеству войска (оно) все-таки уступало Скифскому. С этим последним не только не могут сравниться европейские царства, но даже в Азии нет народа, который мог бы противостоять один на один Скифам, если все они будут единодушны...» [1]

Историк Ксенофонт: «В Европе Скифы господствуют...» («Воспоминания о Сократе») [2]

И, наконец, более поздний Арриан (IIв. н. э.): «Европейские Скифы, которые живут в Европе, составляя огромнейший народ» [3]

Невольно приходит здесь на память ответ «вождя Тавроскифов, называемых обыкновенно Россами», Святослава византийскому императору Иоанну Цимисхию: «Не вижу никакой необходимости, побуждающей римского государя к нам идти: по сему да не трудится путешествовать в нашу землю. Мы сами скоро поставим шатры свои перед воротами Византии. Мы храбро его встретим, покажем ему на самом деле, что мы не бедные ремесленники, живущие одними трудами, но храбрые воины, побеждающие врагов оружием. Хотя, по невежеству своему, он считает русских слабыми женщинами и хочет устрашить своими угрозами, как пугают грудных детей разными чучелами» [4]

И Святослав предлагает византийцам: «Уйти из Европы, которая им не принадлежит», обратно в Азию.

...В заключение этой статьи — несколько слов относительно греческого имени русского, тавроскифского князя — Ахиллес. Вероятно, оно связано с тем, что он привел под стены Трои тысячу воинов. В самом деле: он приплыл на **пятидесяти** кораблях тавроскифских; будем считать их древнерусскими, скифскими «лóдьями» или «насадами», у Гомера сказано: «Сих пятьдесят кораблей предводил Ахиллес знаменитый». Древнерусские насады-ладьи вмещали по двадцать воинов, не считая гребцов [5]. Тысяча по-гречески: хилиой. Отсюда могло возникнуть и прозвание русского князя, приведшего свою тысячу. О таковой возможности — перевода русского имени на

---

[1] Известия древних писателей... СПб. 1893, т. I, вып. 2, стр. 351.

[2] Там же, стр. 359.

[3] Там же.

[4] Лев Диакон Каллойский (В переводе Попова, стр. 66), СПб, 1820.

[5] Н. Аристов, Промышленность Древней Руси.

греческий язык греческими историками — говорит как раз академик Васильевский в статье «Византия и печенеги». Имя родного племянника князю Владимиру — Хризохир, он считает простым переводом русского прозвища: Золотая Рука.

Еще один исторический пример в пользу такой возможности — буквального перевода русского прозвища. Известно, что князь Ярослав Мудрый был хромой. Это давало даже основание противникам его дразнить его «Хромцом»: «Что пришли с Хромцом этим?!» — кричат они, по обычаю задразнивания перед битвой. Это отразилось и в 7-й книге «Деяний нормандских герцогов»: Ярослав Мудрый назван там: «Юлиус Клоудиус». Но слово «клоудиус» по-латыни и означает хромой.

Нелишне заметить, что тысячелистник имеет название «Ахиллеа Миллефолиум», где сочетается и греческое название тысячи и латинское.

* * *

— Ну, хорошо, будем считать доказанным, что Ахиллес — князь Древней Руси,— что же нам-то в этом?! — буквально так сказал мне еще тогда, на докладе, один из приглашенных гостей, типичный представитель «желудочно-полового космополитизма», по выражению Салтыкова-Щедрина.

Ответ на подобный вопрос был дан более ста лет назад Виссарионом Белинским.

«Ахилл выше всех других героев целою головою... Ахилл представляет совокупность субстанциональных сил народа... Это герой поэмы по праву: великая геройская душа его обитает в прекрасном, богоподобном теле; мужество слилось с красотою в лице его; в движениях его величавость, грация и пластическая живописность; в речах его благородство и энергия. Не диво, что боги и сама судьба помогают ему; не диво, что одно появление его, безоружного, на валу и троекратный крик обратили в бегство войско троян. Он есть центр всей поэмы: его гнев на Агамемнона и примирение с ним дали ей завязку, начало, середину и конец. Гневный, он сидит в бездействии в своей палатке, играя на златострунной лире, не участвуя в боях; но он ни на минуту не перестает быть героем поэмы, в ней всё от него исходит и всё к нему возвращается. Но это

потому, что он присутствует в поэме не от себя, а от лица народа, как его представитель»[1].

О, если бы и Виссариону Григорьевичу дано было знать: представителем какого народа является Ахиллес!

И чтó «Илиада» без Ахиллеса?! «Илиада» — это ахиллиада! Так неужели нам и ныне безразлично то обстоятельство, что величайший представитель мировой поэзии на протяжении тысячелетий, «божественный Омир» русского, тавроскифского князя избрал главенствующим героем древнегреческой поэмы?

Но ведь и о народах речь! Мы знаем теперь, что воззрения Ломоносова, его гневный отпор ругателям русского народа, таким, как «господин Миллер», подтверждены были историко-археологическими исследованиями не только в прошлом веке, но еще более — в наше, советское время.

Многие из высших представителей отечественной науки, слависты и эллинисты, принимают ныне сторону академика Васильевского в вопросе о соотношении античного (древнегреческого и римского) мира с древнерусским, ему современным. Назовем хотя бы следующие имена: Греков, Рыбаков, Тихомиров, Третьяков, Удальцов, Пассек.

Историко-материальный анализ событий Гомеровской Греции, а в частности, событий Троянской войны дает нам право утверждать, что мы, русские, являемся не только «первонаследниками Эллады», через посредство Византии, но и гораздо ранее возникновения самой Византии, мы, русские, а с нами вместе и славянство, были соучастниками, сотворцами великой Средиземноморской античной культуры. В свете историко-археологических и лингвистических исследований перед нами явственно предстает единство и взаимодействие на протяжении тысячелетий Средиземноморского и Черноморского древнего мира.

ИСТОРИЗМ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ

Вопреки мнению многих, пословицы и поговорки русского народа, с их пронзительно-мудрым словом, обымают отнюдь не только житейско-бытовые, лично-семейственные отношения, но

[1] В. Г. Белинский, Разделение поэзии на роды и виды. Цит. по книге: В. Г. Белинский, Избранные сочинения, М. 1948, стр. 178—179.

подвергают своему неподкупному и неотменному суду и события исторические, и деятелей большой, политической сферы народного бытия.

Историки и филологи не прошли мимо этого явления.

Очень многие из пословиц и поговорок восходят прямо-таки к незапамятным временам. Приведу один пример, в особенности в этом смысле показательный. Под 1151 годом в Киевской летописи рассказывается, как Мстислав Изяславич, во время длительной междоусобной войны за Киевский великокняжеский престол, потерпел страшное поражение, погубил присланный ему на помощь союзный отряд, в силу своей беспечности, и сам едва «утече». И вот, когда весть об этой беде дошла до его отца — Изяслава, тот в гневе на сына язвительно сказал: *«Не идет место к голове, а голова к месту!»* Буквально это изречение рассерженного родителя записано в летописи так: «Рече слово то, якоже и переже слышахом: не идеть место к голове, а голова к месту». В переводе на современный язык: «Вымолвил слово, которое и прежде мы слыхали: не место идет к голове, а голова к месту!» Кто из нас не признáет в этой древней пословице всем известную и в наши времена: «Не место красит человека, а человек — место!» Но обратите внимание, что летописец, вдобавок, счел нужным заметить, что изречение это приходилось еще и **прежде** слыхать! Такова его древность!

С давних пор и мне, более для художественных целей (эпопея «Ратоборцы» и работа над переводом «Слова о полку Игореве»), приходилось заниматься исследованием именно указанной выше стороны древнерусских и старинных пословиц или поговорок: а именно — их отношение к истории.

Горсточкой своих наблюдений я и хотел бы поделиться здесь с читателями.

Возьмите для начала бытовую, казалось бы, поговорку о луке. Однако и здесь не обошлось без явного отражения военно-исторических событий: «*Лук — что татарин*: как снег сошел, так и он тут!» Известно, что нашествия татарские приноровлялись к ранней весне: едва только появлялась трава, необходимая как подножный корм для неисчислимой татарской конницы. Невзыскательный лук отличается ранней всхожестью.

Многократно отразилась в пословицах русского народа борьба с Крымским ханом за город Азов: «Азóв не о сте глазóв, а Крым — не крив!» Или: «Гонец из Крыму — что таракан из дыму!» Известно, что защитным рубежом Древней Руси против татарских набегов служила река Ока. Тут размещались и сто-

рожевые отряды; и естественно, они должны были «не дремать», быть бдительными. Это непременное требование и отразилось в поговорке: «Лежи на боку — да гляди за Оку!» Чисто, казалось бы, семейно-нравственное предписание, «домостроевского» порядка — о том, что глава семьи, мужчина, владыка всему,— народ опять-таки облекает в сравнение мужа с ханом в Крыму: «Большой в дому — что хан в Крыму!»

О сражениях, о битвах:

«В поле съезжаются — родом не считаются!» Понять это можно двояко: дескать, и «смерд» может в битве убить *родовитого* боярина (и даже — князя, чему в летописи есть примеры),— это в одном понимании слова «род»; а в другом — в смысле *родства* кровного: в битве, мол, и на родича руку поднимешь! Иная пословица, вернее, поговорка, по достоинству оценивает чужеземные войска: «Аглинские немцы не корыстны люди, а драться люты!» А сколько сарказма иной раз в поговорках о неравной доле простого воина в битве или — о трусах: «Больно хлоп ранен: и головы не нашли!», «Хребтом гоняя недруга, устал!»

* * *

Тяжкое классовое угнетение, ужасы пыток в застенках неоднократно запечатлялись в народном «крылатом слове»: «Царство — Москва, а мужикам — тоска». (Здесь надо напомнить, что в старинном языке слово «тоска» имело еще смысл и *угнетения, притеснения.)* «Кнут — не архангел, души не вынет, а правду скажет!», «Ты, язычок, смалчивай; я за тебя белку плачивал!» Вписывая в свой Словарь древнюю поговорку: «Была правда у Петра и Павла», Владимир Даль поясняет: «в застенке московском, т. е. где была пытка»; надо полагать, это где-то недалеко от храма Петра и Павла.

Недоверие к иезуитам, к Ватикану отразилось в пословице: «Римская лесть — мнимая честь».

Особое внимание привлекают **именные** пословицы и поговорки. Например: «По лихости по царской и сам себе — Пожарской!» Или: «Как Марина заварила, так и расхлебывай!» В последней, кажется, речь идет не о ком другом, а именно о супруге двух Лжедимитриев, о Марине Мнишек, вспорхнувшей на краткий миг на московский престол, а затем погибшей в тюрьме, и, как полагают, насильственной смертью. Однако Даль почему-то оставляет это под вопросом.

Но мне думается, что через «разведку словом» в одной пословице XVII века мне удалось несомнительно указать *истори-*

ческое лицо, в которое нацелена была эта пословица, а именно — *Артамона* Матвеева, боярина-западника, близкого царю Алексею Михайловичу. Известно, что московский простой народ его ненавидел и что Артамон Сергеевич Матвеев был умерщвлен в Кремле на глазах царской семьи во время мятежа 1682 года. Памятью этой народной ненависти и осталась пословица: «Артамоны едят лимоны, а мы, молодцы, едим и огурцы». Это вполне согласуется, во-первых, с тем, что «лимоны» и прочие фрукты в то время подавались «на верх», то есть к столу царя и его ближних бояр. Известно также, что западная, бьющая в глаза роскошь и обычаи, которым следовал Артамон Матвеев, послужили немаловажным поводом к расправе над ним.

ОТКУДА У ЧИЧИКОВА «СУКНО БРУСНИЧНЫХ ЦВЕТОВ С ИСКРОЙ»?

Кто не вспомнит из нас:— «Есть су́кна брусничного цвета с искрой? — спросил Чичиков». С такими словами во второй части «Мертвых душ» входит наш незабываемый Павел Иванович в лавку расторопного купца-суконщика. «— Каких сукон пожелаете?» — спрашивает его купец. Чичиков уточняет: «— *С искрой* оливковых или бутылочных, приближающихся, так сказать, *к бруснике*». Купец услужливо разворачивает перед ним отличную штуку сукна, но взыскательный и многоопытный покупатель недоволен: «— Хорошо, но все не то,— сказал Чичиков.— Ведь я служил на таможне, так мне высшего сорта, какое есть, и притом больше искрасна, не к бутылке, но к *бруснике* чтобы приближалось».

Довольно неожиданной, хотя и несомненной, является приемственная связь этого, казалось бы, мимоходного и, в сущности, заурядного бытового эпизода из «Похождений Чичикова» с одним из трагических событий так называемого Смутного времени на Руси в самом начале XVII века, в царствование Василия Шуйского.

Слегка напомню об этом событии. Это произошло, когда появился уже второй Лжедимитрий, «Тушинский вор», грозивший вот-вот отнять московский престол у Василия Шуй-

ского. Король польский Сигизмунд III, поддержавший на первых порах «Тушинского вора», вел в то же время войну с шведским королем Карлом IX из-за шведского престола, на который Сигизмунд имел якобы наследственные права. Естественно, что Василий Шуйский искал союза с врагом Сигизмунда — Карлом IX. Племянник московского царя, молодой, но весьма одаренный полководец, Михаил Скопин-Шуйский послан был для совместных боевых действий со шведским вспомогательным отрядом. Но вероломный союзник захватил Новгород. В потере города народ обвинял воеводу — боярина Михаилу Татищева. Его объявили изменником. Скопин-Шуйский отступился от него, и новгородцы самосудом покончили с Татищевым. Однако имуществу его составлена была *«опись»*, и оно продано было с публичного торга. Тут соблюдена была полная «законность».

И вот, читая эту опись, мы видим среди множества прочих вещей и: «*сукно* лундыш *бруснично*» и — «кафтан холодной, *сукно* кострыж сизов *сыскрою*»[1] (с искрою).

* * *

Из дальнейшего станет ясно, что это единичное сопоставление является лишь предлогом для того, чтобы поставить вопрос шире: об историзме Гоголя и о соотношении некоторых его произведений с древнерусскими памятниками: с летописями и «Словом о полку Игореве».

В некоторых местах «перекличка» эта прямо-таки бросается в глаза. Да и удивительно ли такое обстоятельство, если мы вспомним, что Гоголь не только глубочайший знаток истории, но и «экс катéдра» выступал, как профессор, в Петербургском университете. Попутно надо заметить, что не следует слишком доверять анекдотам о его якобы полном провале на этом поприще. Во всяком случае, одну из дошедших до нас лекций — о Великом переселении народов — не обинуясь, можно назвать блистательной. Нет, хватило бы у Николая Васильевича познаний и для полного курса, но в его душе был слишком силен... Гоголь! И муза истории Клио вынуждена была отступить...

Вернемся к замеченным нами соотношениям. «Тарас Бульба». Запорожцы осаждают крепость. На валу осажденной крепости красуется среди прочего воинства надменный и пышный пан-полковник: «*Грузен* был полковник, всех выше и *толще*, и широкий дорогой кафтан *насилу облекал его*».

[1] «Временник О-ва истории», 1856, кн. VII, стр. 31.

По древнему обычаю славян, происходит взаимное «задразнивание перед битвой». И это — не по собственному почину какого-либо воина, охочего на перебранку с врагом, нет, тут был боевой, тактический расчет: выманить противника на открытое поле. Сам кошевой приказывает запорожцам: «— Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, *задирать неприятеля!»* Лях, дескать, «брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот». Выполняя приказ, самый «зубастый на слово», запорожец Демид Попович подъезжает чуть не к самому валу крепости и начинает высмеивать непомерную тучность польского пана-полковника:

«— А что ж? — кричит он своим товарищам, но так, чтобы слышно было и на валу.— Может быть, ляхи и правду говорят: коли выведет их вон тот *пузатый*, им всем будет добрая защита.

— Отчего же ты думаешь, будет им добрая защита? — сказали казаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь отпустить.

— А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два, *из-за его пуза* достанешь которого-нибудь копьем!»

Донял-таки Демид Попович тучного полковника! « — Отступайте, отступайте скорее от стен!— закричал кошевой: ибо ляхи, казалось, не выдерживали едкого слова, и полковник махнул рукой.

Едва только посторонились казаки, как грянули с вала картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско» [1].

Начинается яростная битва перед крепостью, в открытом поле. Чрезвычайно похожее событие рассказано в Киевской летописи под 1018 годом. Князь Святополк, прозванный в летописях «Окаянным», в союзе с польским королем Болеславом пришел войной на Ярослава Владимировича. Войска противников стояли друг против друга, разделенные неглубокой речкой. И вот, в недобрый час воевода Ярослава, Будый, начал издеваться через речку над непомерной грузностью польского короля: «—Да то ти пропорем трескою чрево твое толстое!» (В переводе на современный русский язык: — А вот, пропорем (проткнем) жердью брюхо твое толстое!) Летописец поясняет: «Бе бо велик и тяжек Болеслав, яко ни на кони не могий седети», то есть «Ибо огромен и грузен был Болеслав, так что даже и на коне не мог сидеть». Но, добавляет летописец, «бяше

[1] «Тарас Бульба», гл. VII.

смыслен», то есть «умен был». Короля Болеслава, проняло это поношение до глубины сердца: «И рече Болеслав: «Аще вы сего укора не жаль, аз един погибну!» И въсед на конь, выбреде в реку, а по нем вои его». Здесь и без перевода все ясно: «Если вы, дескать, и такое мое поношение стерпите, то я один погибну! И воссев на коня, въехал в реку, а за ним кинулись и воины его».

Дорого обошлось Ярославу это «задразнивание перед битвой». Князь Ярослав, сказано, «не утягну исполчиться», то есть не успел построить войско, и — «Победи Болеслав Ярослава. Ярослав же убежав с четырми человекы к Новгороду».

Любопытное замечание об этом обычае «задразнивания перед битвой» содержится в книге Боричевского «Повести и предания народов славянского племени»:

«Чешские вожди перед битвою ругаются с врагами. Некоторые замечают это, как характеристическую черту славян... Князь Александр Сапега, путешествовавший по Славянщине, говорит, что на Далмацком острове Velia, населенном славянами, у него спрашивали с патриархальной простотою, долго ли неприятельские войска бранятся между собою перед битвой? [1]

Еще одно сопоставление. В самом-самом последнем предложении, завершающем «Тараса Бульбу», есть как будто ничего существенного не означающее упоминание о каких-то *«двухрульных челнах»*, то есть лодках с *двумя рулями*, на которых плывут по Днестру запорожцы после гибели своего атамана: «Казаки быстро плыли на узких двухрульных челнах...» Даже и непонятно, и вызывает недоумение школьников: зачем понадобилось для лодки два руля?!

Но у Гоголя нет ничего случайного! И здесь опирается он опять-таки на глубокое знание древнего и, возможно, общеславянского обычая: на боевых ло́дьях, или «насадах», иметь по два руля. Один был на корме, а другой — на носу. Это давало возможность немедля, стремительно, не теряя времени на повороты, давать боевому кораблю то передний, то задний ход. В речной ли или в морской битве тех, давних времен такое устройство способствовало победе над неповоротливым флотом врага.

И опять-таки Гоголь почерпнул это из летописи.

В 1151 году между князьями шла упорная борьба за обладание Киевом. На Днепре происходили целые сражения речных флотов. И вот один из противников, князь Изяслав Мстиславич

---

[1] И. Боричевский, Повести и предания народов славянского племени, СПб., т. II, стр. 8.

и применил тогда в этих сражениях вооруженные «лодьи» с двумя рулями:

«Бе бо исхитрил ладьи дивно... Кормщика (т. е. рулевых) *два беста: един на носе,* а другый *на корме*; аможе хотяхуть, тамо поидяхуть, не обращающе лодий» (т. е. куда хотели, туда и шли, не заворачивая лодий).

* * *

Но и вещественность сухопутных сражений, присущая славянам средневековья,— раннего и позднего, вплоть до начала XVIII века, изображается Гоголем в полном соответствии с историей. Иногда это лишь мелькнет у него, так что не вдруг и заметишь: «Полковники (польские) ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то движение в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три табора курени, *обнесши их возами, в виде крепостей — род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы*» (гл. IX). Этими подвижными крепостями из тяжелых своих повозок прославились и чехи-табориты, громившие под предводительством Жижки рыцарские полчища едва ли не всей Европы.

Относительно же русского средневековья,— то даже в несчастной битве на Калке уцелевший было со своим войском Мстислав Киевский три дня отбивал навалы татарских полчищ, огородившись «колами», то есть телегами, и погубил себя, лишь поверив крестоцелованию некоего «бродника» Плоскыни, когда вышел со своим войском из-за своей подвижной «крепости».

Сохранились несомненные известия, что еще во времена Алексея Михайловича русские войска, отступая, совершали это свое отступление под прикрытием обозных телег, выстроенных в виде двух движущихся стен,— справа и слева от войска.

* * *

Отзвуки «Слова о полку Игореве» и в «Тарасе Бульбе» и в «Страшной мести» были услышаны многими, и неоднократно. Этот чудный и таинственный звон, донесшийся через столетия до сверхчуткого и великого художника слова, он как бы пронизывает оба эти произведения, отдается в них то грозно-трагическими, а то еле слышимыми, затихающими и жалостными звуками.

Подобно Пушкину, и Гоголь всю свою жизнь находился под обаянием «Слова».

Как миновать хотя бы следующие сопоставления.

В «Слове о полку Игореве» *битва* уподобляется пиру: «Ту *кровавого вина* недоста; ту *пир* докончаша храбрии Русичи: сватов попоиша, а сами полегоша за Землю Рускую». А вот — из самого зачина «Страшной мести»: «Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с *разгульной попойки*, где *поил* он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей *красным вином*».

Или: «И *запировал пир»* (последний бой пана Данилы).

То же самое уподобление и в смерти Кукубенка: «И хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину...»

Трудно воздержаться и от сопоставления нижеследующих строф (да, и о прозе многих и многих вещей Гоголя вполне законно говорить — «строфы»!):

В «Слове о полку...»: «Черна земля под копыты костьми была посеяна, а кровью польяна». В «Тарасе Бульбе»: «Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто их белыми торчащими костями, щедро обмывшись казацкою кровью».

Но лишь более пристальному всматриванию открываются даже и незаметные на первый взгляд созвучия. Достаточно будет и нижеследующих примеров.

В «Слове»: «Ничить трава жалоцами», то есть *никнет трава от жалости.* У Гоголя: «сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля и *степная трава поникла* бы долу» («Тарас Бульба», гл. XII).

В «Слове» обилие и высокая ценность «воинской добычи», доставшейся воинам Игоря, а также и презрение к ней с изумительной силой показаны в следующей строфе: «Помчаша красные девкы Половецкыя, а с ними злато, и паволокы, и драгие оксамиты: орьтомами и япончицами, и кожухи начашя мосты мостити по болотом и грязивым местом».

У Гоголя в «Тарасе Бульбе» это же самое *презрение к драгоценным тканям* среди отягощенных добычею запорожцев изображается в чрезвычайно похожем виде, а даже со словами *«паволоки»* (то есть нечто вроде парчи, дорогих византийских покровов) и — «оксамиты» (то есть бархат). И если воины Игоря стелют эти драгоценные покровы по болотам и топким местам, чтобы легче было идти, то запорожцы Гоголя безжалостно *дерут* их на онучи: «Не раз драли на онучи дорогие *паволоки* и *оксамиты»* (VIII).

Иные эпитеты бессмертной поэмы XII столетия Гоголь приемлет и в свое творение. Так — со словом «жемчужная» по отношению к *душе*. В «Слове о полку Игореве» — о смерти на поле битвы Изослава Васильковича сказано, что он «един изрони *жемчужну душу»*; У Гоголя *«Молодою жемчужною душою»*.

Эпитет песнетворца Бояна *«вещий»*, неоднократно повторенный в «Слове»: «Боян бо вещий», «вещей Бояне», «тому вещей Боян»,— Гоголь преемственно и с далеко замышленным и тончайшим поэтическим расчетом придает украинскому *песнетворцу — бандуристу:* «Будет, будет бандурист, с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, *вещий* духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово» (VIII).

«МУ́СОРСКИЙ»
ИЛИ — МУСО́РГСКИЙ?

Откровенно сказать, меня как-то передергивает, когда я слышу: великий русский композитор Мусорский... Особенно четко звучит это у иной «благозвучноголосой» дикторши, так что явственно становится слушателю вещания, что фамилия Модеста Петровича происходит от слова «мусор». И не каждый ведь из миллионов удосужится вспомнить, а как же, дескать, эта фамилия пишется? А пишется она: Мусор*г*ский, то есть, с несомнительной буквой Г между Р и С. И этот «глаголь», говоря по-старинному, прямо запрещает нам производить фамилию от слова «мусор».— Но,— возражают мне,— само произношение здесь мешает явственно выговаривать Г в сочетании: РГС,— тяжело, с запинкой получается!

Что верно — то верно. Однако следует все же *переменить ударение* и произносить: Мусóргский, пусть и не произнося «г». А это еще почему? — так и вскинется иной.— Ведь и в приятельском кругу его звали: «Мусорянин».

— Но,— возражаю я,— мало ли что говорится в шутку, приятельски! А произносить все-таки надлежит МУСОРГСКИЙ, с ударением на ОР, ибо такового произношения требует история возникновения этой фамилии. Она произошла некогда от церковнославянского слова МУСОГР, то есть *художник, поэт, музыкант*. Слово это есть легкая древнерусская перезвуковка греческого слова МУСУГР, означающего то же самое.

Вот — тексты: «Уноша некто *мусугр* хитростию». Слово *мусугр* подверглось со временем легкой «метатезе», перестановке звуков Г и Р, так что получилось МУСО*РГ*. Однако в греческих текстах есть и «МУ*СУРГОС*», иначе говоря, взаимная постановка звуков (букв) Р и Г совпадает с той постановкой, какая в фамилии МУСОРГСКИЙ.

Словом, нет сомнений, что фамилию великого композитора надо произносить как Мусóр(г)ский!

«ТРУБЕЖ» ЛИ?

Смущает меня в Киевской летописи слово *Трубеж* (название речки). Известно, что целый ряд названий из топонимики древнего, княжеского Киева унаследовала Владимиро-Суздальская древняя Русь. И в Рязани появился *Трубеж* — как перенос киевского. Но, если это слово существовало в древнерусском языке в значении *акта, действия* от глагола *трубить*, по аналогии с такими древними словами, как *правёж, долбёж*, то, вероятно, оно встретилось бы в форме *трубёж*, то есть настойчиво повторяемое, зычное *трубление*, или как место, где постоянно, или часто раздавался сильный звук трубы. Однако в древнерусских памятниках встречаем и *трубить*, и *труба*, и *трубник*, и даже *трубка*, а искомого производного, в смысле *акта*, в смысле *действия*, я не нашел.

И еще заставил меня задуматься над значением этого слова факт переноса его в Рязань: ведь не просто же — взяли да и перенесли, в подражение Киеву. Должно быть, маленькая речка в самой древней Рязани чем-то была подобна киевскому Трубежу?

Изучение чешского языка навело меня на сомнение в том, что название это связано с трубою или трубными звуками. А не *друбеж* ли, что искони означало в чешском языке... *домашнюю птицу*, живность: drůbež. А *птичий двор, птичник*,— по-чешски: drůbežárna. Сходство между русским и чешским языком в ту, древнюю пору было несравненно больше, чем теперь. Да и ныне это глубокое родство явственно видится и слышится. Так вот, не «друбеж» ли был первоначально, не княжеский ли *птичий двор?*

Из летописи известно, что киевские князья имели близ Киева особый *звериный* двор. Место это в летописи так и именуется — «зверинец»: «Об ону сторону Трубежа, за *зверинцем*, у ро-

щения» (Ипатьевский список под 1149 годом); то есть «По ту сторону Трубежа, за зверинцем, у рощи». В таких зверинцах, в частности, содержались гепарды — для княжеской охоты.

Но княжеские хозяйства обладали и обширными *птичными дворами*. Одних соколов охотничьих, кречетов бывало несметное количество. Попутно вспомним название — Сокольники! Много было и лебедей, да и другой птицы (водоплавающей и прочей). Возможно, место их обитания близ ручья и называлось — *Друбеж*.

Мена «Д» и «Т», трудно различаемых в таком положении на слух,— вещь вполне вероятная. Так, например, старинное слово «трут» (обиходный предмет русского народа издревле: перетомлённая в жаркой печи тряпица, служившая для добывания огня) встречается и в форме «тру*д*» *«д»* вместо *«т»*.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «МОСКВА»?

Существует множество толкований. Конечно, всеми отброшено объяснение Иннокетия Гизеля (XVII в.), данное и в «Синопсисе», будто бы слово «Москва произошло от имени Мосоха, шестого сына Иафетова». Из прочих же, кажется, наиболее привившихся, является сближение этого слова с финским языком. Здесь участвуют и «муста» (черный), и «мёска» (телка) и «ва» (вода). Касательно последнего должно сказать, что существовала и форма МОСКÓВА, что, я думаю, можно рассматривать как слово «МОСК», происшедшее от «МОКС» (по закону перестановки, «метатезы»), оснащенное русским суффиксом принадлежности, с окончанием женского рода -а: *-ов-а*. Тогда в слове «МОСКВА» столько же «воды», сколько в словах Петро*ва,* Ивано*ва* и т. д.

Мне кажется, напрасно поиски не направлялись на сближение с *санскритом*. В других случаях этот «пра́язык», близкий по корнесловию и нам, русским, и литовцам, и многим европейским языкам, вплоть до латинского, редко когда обходят при словопроизводстве. Да и можно ли его обойти, если *тысячи* слов санскрита соответствуют по своим корням и русскому, и литовскому, и немецкому языкам, и греческому, и латинскому. «Искры» санскрита таятся во всех индоевропейских языках. Народы — и впрямь братья! «Матерь» и по-санскриту — *матер*; отец, тятя — в санскрите — *тата*; жена — *жянани* (родитель-

ница) от санскритского ЖЯН — рождать; *сын* — родственно санскритскому СУНУ от глагола СУ — рождать; вообще степени родства подчас изумительно сходствуют; даже *свекровь* и *свекор, сноха* и *зять* (не передаем здесь произношения, но каждый желающий может в этом легко убедиться, просмотрев хотя бы санскритский словарь, приложенный к руководству Ф. И. Кнауэра, Лейпциг, 1908). Но и наименования многих явлений природы несомненно одного истока и в санскритском и в русском языках. В латинском языке множество слов показывают также большое родство со словами, запечатленными в санскрите. ЛУК по-латыни — ЦЭПА, но и на санскритском — так же; латинское НОВУС, что означает НОВЫЙ, и в санскритском языке — НАВА; лат. НАВИС — корабль, санскритское — НАУ. Однако наибольшее сходство приходится, кажется, на русский и на латинский языки: *тысячи* слов!

Думаю, что и слово МОСКВА следует сближать со словом МОКСА, что означало ОСВОБОЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ на древнем праязыке. Затем в этом слове, по закону языка, произошла мена местами, перестановка звуков «К» и «С», так называемая метатеза: как в словах *ведмедь* и *медведь, длань* — *долонь* — *ладонь* и т. д. и т. д. И в силу этого закона метатезы из МОКСА возникло — МОСКА (см. Кнауэр), то есть *Москва*.

Подтверждение такому словотолкованию усматриваю я в повествовании арабского писателя XIII века Джувейни о нашествии Батыя, чему этот писатель был современник: «Оттуда они (татары) отправились в земли *Руси* и покорили ее до города *МКС*, жители которого по многочисленности своей были точно муравьи... А окрестности были покрыты болотами и лесом, до того густым, что в нем нельзя было проползти змее». Известно, что арабской письменности свойственно не обозначать гласные. Так что комментатор данного текста известнейший ориенталист Тизенгаузен прочитывает эти три согласные — МКС, как — МОСКВУ (очевидно, через МОКСА-МОСКА). А в другом месте того же самого повествования уже сказано, что Батый захватил город «МАШКЎ». Из этого следует, что Тизенгаузен правильно истолковывает МКС как — МОСКВУ.

Сильнейшей поддержкой моему разысканию служит, между прочим, и то, что возглавлявший европейское посольство к Батыю, Вильгельм де Рубрук пишет *МАКС*ЕЛЬ — *МОКС*ЕЛЬ: «Из Руссии, из *МОКС*ЕЛЯ (Maxel)...» (Вильгельм де Рубрук, перевод Малеина, СПб. 1911, стр. 76).

Итак: МОКСА — МОСКА — МОСКВА означает *освобождение, спасение*.

СОДЕРЖАНИЕ

4Р
Ю 15

Алексей Кузьмич Югов

ДУМЫ О РУССКОМ СЛОВЕ

Художники *Б. Мокин* и *Б. Шляпугин*
Художественный редактор *Б. Шляпугин*
Технический редактор *И. Подшёбякин*
Корректор *Т. Бочкова*

Сдано в набор 26/I 1972 г. Подписано к печати 24/VII 1972 г. Формат бум. 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 12,56. Уч.-изд. л. 12,84. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1189. Цена 99 коп.

Издательство «Современник»
Комитета по печати при Совете Министров РСФСР и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, Минск, Красная, 23.

7-1-2
114-72

Цена 99 коп.



«СОВРЕМЕННИК»